



И. А. ИЛЬИН

Встречи и беседы

(№ 1) 1927. О событиях 1916

В 1917 г. во время одной беседы с П. Б. Струве¹ наедине я спросил его: «Скажите, Петр Бернгардович, а что, следственная комиссия под председательством Н. К. Муравьева² нашла в делах царской семьи что-нибудь подозрительное или обличительное в смысле государственной измены?». Задавая этот вопрос, я уже знал по Москве от членов и сотрудников этой комиссии, что следствие опровергло все клеветы и слухи, распускавшиеся в этом направлении. П<етр> Б<ернгардович> ответил: «Нет, ничего, решительно ничего; полная реабилитация!». «На каком же основании, — спросил я, — Милюков³ произносил свою пресловутую речь в Думе 1 ноября 1916 г.: “Глупость или измена”? Ведь этой речи многие поверили в стране и подозрение в измене пало на царскую семью?» Петр Бернгардович несколько замялся: «Видите ли... У него тоже не было никаких оснований... Но в то время центральный комитет К<онституционно-> д<емократической> партии считал, что в *настоящий момент* против Царской семьи *политически показывается инсинуация*». От негодования я не мог продолжать этот разговор и перешел на другие темы. Отмечу, что сам П<етр> Б<ернгардович> тогда не состоял уже ни в К<онституционно-> д<емократической> партии, ни в ее центральном комитете.

(№ 2) 1917. Декабрь

В декабре 1917 г., после выборов в Учредительное собрание, но до его заседания и разгона, я как-то встретил в Москве на Воздвиженке Ф. Ф. Кокошкина⁴ и П. И. Новгородцева. Ход выборов и результаты их были уже всем известны: левые партии превратили выборы в распродажу русской государственной вла-

сти с молотка, беззастенчиво «надбавляя» программные ставки и домогаясь во что бы то ни стало «большинства». Все это вызывало отвращение. Я знал, что Кокошкин и Новгородцев избраны в члены Учредительного собрания.

«Федор Федорович! Павел Иванович! — обратился я к ним. — Вы избраны... Неужели же Вы поедете туда и будете участвовать в этом отвратительном и позорном заведении?!» Кокошкин заторопился с ответом: «Вы правы; получилось нечто отвратительное и позорное. Но мы так долго мечтали о нем, так добивались его, что мы должны непременно *поехать, участвовать и доказать его несостоятельность и позорность своими боками, а может быть, и жизнями...*» Новгородцев задумчиво молчал, явно сочувствуя словам Кокошкина. Я понял, что они морально и политически правы, и не настаивал. Через несколько недель Кокошкин, арестованный в Петербурге и помещенный в больницу, был убит (вместе с А. И. Шингаревым⁵) вломившимися к ним матросами, предводительствуемыми Басовым. Потом передавали, что Кокошкин, увидев их, успел крикнуть: «Бватцы, бватцы! Что вы делаете!?!». Он произносил «в» вместо «р».

Ф. Ф. Кокошкин был честнейшим человеком и великолепным знатоком своего предмета (Государственное право). Знаменитый немецкий ученый Георг Иеллинек⁶ говаривал про него: «Das ist der begabteste Staatsrechtslehrer, den ich gesehen habe...»⁷ Но Кокошкин, как и большинство русской интеллигенции, понимал политику как *мечтатель* и *доктринер*: он смешивал программу с идеальной мечтой; считал, что идеал всюду себе равен; не считался с невозможностями национального правосознания и служил неосуществимой или губительной политической химере.

Интересно отметить, что вдова его, Мария Филипповна, была потом (1918—1922) одною из первых, проповедовавших в московских салонах сближение и сотрудничество с большевиками — «приятие революции».

(№ 3) 1930 (?)

Когда в 1930 г., в Берлине, внезапно умер, задавленный трамваем, Юлий Исаевич Айхенвальд⁸, читавший русскую литературу в «Русском научном институте», то директор Института, инженер Всеволод Иванович Ясинский⁹ принялся со свойственной ему энергией за организацию похорон. Он установил, что Айхенвальд был членом евлогиянского¹⁰ прихода на Nahod.

Str., и снесся с тамошним духовенством. Однако в дело вмешался берлинский раввин. Ясинский подробно рассказывал мне о переговорах с ним. Раввин требовал похорон по еврейскому обряду. Ясинский настаивал на том, что Айхенвальд был крещен по православному обряду и состоял членом прихода. Раввин возразил дословно: «Если бы это было так, то он не мог бы работать с нами, в нашей синагогальной организации, как он работал все последние годы».

Тогда «православное христианство» Айхенвальда было доказано документально, и раввину пришлось уступить.

(№ 7) 1917—1923

Зимой 1923 г., через несколько месяцев после моего изгнания, я встретился у моего давнишнего и любимого друга Лазаря Соломоновича Мееровича с Игорем Александровичем Кистьяковским¹¹ (прив<ат->доц<ент> Моск<овского> университета, прис<яжный> пов<еренный>, министр внутренних дел в правительстве Скоропадского¹²). Кистьяковского я знал давно, с первых лет его переезда в Москву, когда я был еще молодым студентом. Оставаясь при университете, в 1906 г. я записался к нему помощником присяжного поверенного, без намерения работать по адвокатуре, только «на случай самого большого краха», по выражению самого Кистьяковского. Я никогда не был с ним душевно близок и не считал его своим единомышленником. Но весной 1917 г. он присылал ко мне своего помощника А. К. Адамова¹³ за текстом моей большой политической речи, которым он хотел воспользоваться в своих выступлениях. С ноября 1917 г. он пригласил меня в организационную «пятерку» для борьбы с большевиками, в которой состояли — он сам, А. В. Кривошеин¹⁴, генерал А. А. Брусилов¹⁵ (заместителем его являлся ген<ерал> Андрей Медардович Зайончковский¹⁶), Ив. Ив. Оловянишников¹⁷ и я. Пятерка проработала до самого отъезда Кистьяковского на юг.

Во время берлинской беседы 1923 г. он спросил меня, как я смотрю на будущее. Я ответил ему, что надо продолжать борьбу до конца и что меня больше всего интересует не тактика и не программа, а *идея новой России*. В этой связи я формулировал вкратце мою идею о новом русском правосознании и о воспитании в русском народе на древних, здоровых, национальных основах духовного характера. Он слушал с интересом и потом сказал, скандируя речь с сильным малороссийским напевом и акцентом: «Да, я вижу, у Вас есть идея. И у меня была идея, но

теперь ее у меня нет. У меня была идея еще во время войны. Вы знаете, как я переехал в Москву ни с чем. А потом я быстро обскакал всю московскую адвокатуру, а потом и всю московскую профессию. За последние годы я купил себе имение в Смоленской губернии. И вот, я решил выставить свою кандидатуру в Пятую Думу от К<онституционно-> д<емократической> партии. В Думе я решил пойти к крайним правым и сказать им: я *вот*, берите меня, я *ваш*. Потом я скоро занял бы пост министра внутренних дел и первым делом ликвидировал бы в России революцию. Я устави́л бы виселицами всю страну от Петербурга до Севастополя и перевешал бы всю эту сволочь. Россия была бы спасена и могла бы мирно развиваться. А теперь у меня идеи нет». Это было для меня неожиданно.

(№ 8) 1923

В тот же вечер Игорь Ал<ександрович> Кистяковский рассказал мне следующее. В Киеве при Скоропадском, вскоре после принятия Кистяковским Министерства внутренних дел, ему доложили, что два чиновника подлежат увольнению: один за то, что отвергал официально признанную украинскую «мову» и даже открыто поносил ее; другой за то, что изобличен в обслуживании германской разведки. Кистяковский вызвал их по очереди и имел с ними такие беседы.

Первому он сказал: «Вы не владеете мовой?» «Нет, Ваше превосходительство». «Хорошо, но зачем же вы ее открыто поносите, если она признана официально? Вы думаете, я ею владею? Но я не буду ее открыто критиковать. Вы представлены к увольнению. Но я оставлю Вас на службе, если вы обещаете мне не критиковать ее гласно». Тот обещал и был оставлен на службе. Второму он сказал: «Вы представлены к увольнению за ваше обслуживание германской разведки. Но я оставлю вас на службе, если вы торжественно обязуетесь каждый ваш доклад германцам и каждое ваше сообщение им предварительно представлять мне в писаном виде на одобрение». Тот обещал и был оставлен на службе.

Этот второй был Николай Дмитриевич Тальберг¹⁸, впоследствии член Высшего Монархического Совета при Н. Е. Маркове¹⁹.

(№ 9) 1931

Как-то летом 1931 г. я возвращался из Женевы в Берлин. Я оказался в отделении III класса, в котором уже сидел почтен-

ный католический прелат. Мы разговорились, и как-то выяснилось, что он знал и мое имя, и мою антикоммунистическую работу в Германии, и мою близость к евангелическим центрам Берлина. В Базеле мы обедали в ожидании пересадки, он непременно хотел заплатить стоимость моего обеда и, обнимая меня за плечи, рычал: «Das ist mein Freund!»²⁰.

Между Базелем и Франкфуртом-на-Майне он обратился ко мне с такою речью. Я-де должен позаботиться прежде всего о «спасении моей души»; для этого следует непременно перейти в католичество. Но не надо делать это открыто. Мне надо принять католичество тайно, открыто оставаясь в православии. Тогда передо мною откроются великие возможности: я буду работать в православии и с евангелическими центрами Берлина по указаниям прелата Мишеля д'Эрбиньи²¹ в Риме, а католики обеспечат мне в Германии пожизненно академическую кафедру в одном из своих университетов.

Я едва верил своим ушам. Переспросил, уточнил и задумался над ответом. Подумав, я решил скрыть и негодование, и закипавший во мне юмор.

«Господин прелат, — сказал я ему по-немецки, — ваше предложение свидетельствует о великом вашем доверии ко мне; оно и неожиданно для меня, и затруднительно; я должен спокойно обдумать его на свободе». Тогда он полез в свой чемодан, извлек из него свою большую фотографию и преподнес ее мне со словами: «Вот вам на память. Как только вы решите вопрос положительно, позвоните мне по телефону в Кельн. Я немедленно приеду в Берлин, мы отправимся с вами к прелату Kaas, а от него — к рейхсканцлеру Брюнингу²², и ваша судьба будет устроена». От Франкфурта он поехал в Кельн, а я в Берлин. Его звали Prülat Iakov Schütz²³.

Приехав домой, я запротоколировал по свежей памяти нашу беседу на оборотной стороне фотографии. При первом же деловом свидании с Oberkonsistorialrat A. W. Schreiber (Kirchenbundesamt²⁴) и с Oberkonsistorialrat Alfred Fischer (Oberkirchenrat) я отвел душу. Я внезапно спросил их с серьезным лицом и притом дважды и торжественно: «Was gebt ihr mir, dass ich Euch nicht verrate?»²⁵. Fischer затревожился, а Schreiber, подмигнув ответил: «So siehst'te aus!!»²⁶. Тогда я рассказал им всю историю и показал портрет. Больше я Шютца никогда не видел. Но потом узнал, что именно таким способом они сделали своего агента из проф. М. А. Таубе²⁷.

(№ 10) 1912

В 1911—1912 гг., когда мы были в заграничной командировке, мы два раза встречались с Богданом Александровичем Кистяковским, человеком очень недаровитым, подозрительным, завистливым и склонным к интриге. Тогда я его еще не разглядел. Он почему-то все укорял меня за неуживчивость и уговаривал меня объединиться с Б. П. Вышеславцевым и Н. Н. Алексеевым, людьми мне решительно чуждыми и антипатичными. При этом он все ссылался на образцовую «дружную четверку» — Б. В. Яковенко, Ф. А. Степуна, С. И. Гессена и Сеземана²⁸. Я слушал и удивлялся.

Весною 1912 г., перед возвращением в Москву, я получил от него длинное письмо, в котором он опять уговаривал меня объединиться с Вышеславцевым и Алексеевым, устроить фронт против нашего учителя и «оставителя»²⁹ П. И. Новгородцева и осадить этого последнего, показать ему его невысокое место и сломить его власть. Я тотчас же ответил ему иронически-негодующим письмом, обличая его интригу и издеваясь над ней. Ответ пришел растерянный и самый жалкий: что он ищет только «справедливости», что я его «не так» понял, что ему трудно мне сейчас ответить основательно, потому что его «закачало» в поезде железной дороги etc. Переписка наша оборвалась.

Он вернулся в Москву раньше меня. Каково же было мое удивление, когда я, по возвращении в Москву, услышал из уст П. И. Новгородцева всю серию обвинений меня в неуживчивости, недружелюбном отношении к коллегам etc., которую мне преподносил Кистяковский. Разговор закончился категорическим указанием Новгородцева на то, что он никаких преподавательских занятий для меня в Москве устроить не может, и советом переехать в Петербург. Интрига Кистяковского раскрылась для меня, но мне было стыдно и противно показывать Новгородцеву письма от К<истяковского> — и я предпочел молчать.

В это время Новгородцев уже не вел университетскую кафедру философии права, находясь с 1911 г. в отставке вместе с другими радикальными профессорами. Юридическим факультетом владели реакционные «кассовцы»³⁰ во главе с П. В. Гидуляновым³¹, человеком тупым, грубым и пролазливым. Я встречал его раньше у Михаила Исакиевича Бруна (прис<яжный> пов<еренный>), потом лектор частного международного права в Моск<овском> коммерч<еском> институте).

Я стал строить свою преподавательскую деятельность и свой existenz-minimum³² помимо Новгородцева. Высшие женские

курсы, учр<ежденные> В. А. Полторацкой (юридич<еские> и историко-филологич<еские> факультеты), где я преподавал еще в 1909—1910 гг., сразу предложили мне 8 часов в неделю (курс и семинарий на юридич<еском> фак<ультете> и курс и семинарий на ист<орико>-фил<ологическом> факультете); в Университете я получил «рекомендованный к зачету» курс и семинарий; уроки философии в семье покойного профессора Г. Н. Габричевского³³ довели число моих недельных часов до 16 и экзистенц-минимум был дан. Мы сняли квартиру в Крестовоздвиженском переулке в доме Бутурлина (в коей и прожили до самого изгнания), я поставил телефон, начал серию докладов в Моск<овском> психологическом обществе (председательство Л. М. Лопатина) и стал работать над диссертацией о Гегеле. Любопытно, что П. И. Новгородцев еще раньше отговаривал меня от этой работы, указывая на то, что «Гегель, разложенный по полочкам тончайшего хуссерлизма — будет уже не Гегель». Новгородцева я перестал посещать и не бывал у него целый год.

В это время декан Гидулянов, встречаясь со мною в профессорской, уговаривал меня 1) *упрощать* преподавание, не усложняя его ненужной глубиной и детализацией: надо «пропускать студентов через университет, не затрудняя их»: «Вы попроще, попроще, видите в чем дело! Примите во внимание — не надо затруднять»; 2) скорее защищать диссертацию, кафедра вакантна: «припишите к Вашему этюду “Понятия права и силы” листа три и подавайте на магистерскую степень...» На первый пункт я с отвращением и презрением промолчал. На второй указал, что я готовлю большую работу о Гегеле и менять тему не буду.

С весны 1913 г. со мной начал заводить разговоры С. А. Котляревский³⁴, сыгравший во время массовой отставки 1911 г. такую некрасивую роль: сначала агитировал за отставку, потом, узнав, что Кассо³⁵ *примет* отставку целой сотни профессоров и доцентов, поехал в Петербург, переговорил с Кассо, вернулся, взял свою отставку назад, а в фонд помощи ушедшим в отставку внес 3000 рублей, которые были ему возвращены. Тем не менее он сохранил дружественные отношения с П. И. Новгородцевым, сближаясь все более и более с гидуляновцами.

Весной Котляревский зазывал меня к себе обедать (одного), провожал на улице и все заводил разговоры о том, как грустно положение тех университетских учителей, против которых встают их ученики, о том, что в науке важно преемство, что ученику подобает пиетет к учителю.

Однажды это надоело мне и я написал ему формулирующее письмо, в коем высказал, что только низкие натуры способны к неблагодарности, интригам и предательству, но что, с другой стороны, ученый-исследователь не призван к покорности людям и должен повиноваться только Богу, своей совести и голосу Предмета.

Вскоре после этого я был приглашен им на вечер с ужином. Был еще кое-кто и Лидия Антоновна Новгородцева (жена Павла Ивановича), с которой мы пробеседовали вдвоем полвечера. Она была со мною очень любезна, ласкова и светла.

Вскоре после этого я встретил где-то Павла Ивановича, который стал мне дружески пенять за то, что меня «нигде не видно», что он в заботах о моем устройении, что он предлагает в Коммерч<еском> институте просеминарий по общей теории права, вносит на Высшие женские курсы, основанные Герье³⁶, предложение поручить мне философский курс и готовит мне курс в Народном университете Шанявского. Наши отношения восстановились. Но — ни тогда, ни после в Праге в общении с Лидией Антоновной — я никогда не чувствовал желания разоблачить интригу Б. А. Кистяковского, несмотря на то что сохранил оба его письма. Сначала думалось, что он сам разоблачит себя однажды; а потом, после 1925 г. (кончина Павла Ивановича в Праге), — это дело не представлялось столь существенным. Но в воспоминаниях ему *есть* место.

Из приглашения на курсы Герье ничего не вышло: Н. Д. Виноградов, А. В. Кубицкий и Г. Г. Шпет³⁷ провалили мою кандидатуру. Преподавание в Комм<ерческом> институте состоялось. В Университете Шанявского — началось позже.

Просеминарий в Комм<ерческом> институте давал мне удовлетворение. Огромная аудитория (maximum). Большая посещаемость (1200 человек нормально, 900 к концу семестра). Высокая кафедра с винтовой лестницей. Живая свободная импровизация, доводящая сущность права и правопереживания во всех его элементах до образной ясности, до очевидности на всю жизнь.

Когда я рассказывал об этом курсе Владимиру Ивановичу Герье, у которого бывал запросто и с которым мы беседовали по душам, то он пришел в ужас и воскликнул: «Но у Вас должны после такой лекции *плечи* болеть!». На такой двухчасовой лекции был однажды и мой отец. Отклики из аудитории были живые и взволнованные.

В 1914 году к весне в Москве должен был защищать диссертацию П. Б. Струве. Оппонентами были назначены Н. А. Каблуков³⁸ и доцент Митюков³⁹ (пьянствующее ничтожество). Я был совершенно чужд факультету, но стороной узнал, что они готовят Струве как либералу — скандал. Накануне диссертации я счел необходимым предупредить его об этом.

Диссертация проходила при полной богословской аудитории. Каблуков был вял и неинтересен. Митюков пытался изобличить Струве в плагиате у Потебни⁴⁰. После официальных оппонентов встали сразу С. Н. Булгаков в аудитории и я на эстраде. Слово дали мне. Я был краток: «Дорогой и глубокочтимый Петр Бернгардович! Я взял слово не для того, чтобы утомлять Вас третьестепенными и четверостепенными возражениями. Я не экономист и не чувствую себя призванным возражать Вам. Но я внимательно продумал методологическую часть Вашей работы и признал ее философически блестящей и убедительной. И когда Ваш труд появится на иностранных языках, то мы будем им гордиться так, как гордимся им ныне в России».

Потом говорил Булгаков и еще кто-то. Остальное прошло обычно.

После этого начались глухие слухи о том, что факультет готовит мне «расправу». Это продолжалось неделями. Усиленно начал ухаживать за мною Котляревский, выражая всяческое сочувствие и уважение, а также готовность отстаивать меня. Однажды позвонил Новгородцев и сказал, что если бы на факультете причинили мне какой-либо вред и встал бы вопрос об отбывании воинской повинности, то он «устроит меня» через Коммерческий институт.

Я решил проткнуть нарыв и дать встречный бой. В приемный час я был у декана Гидулянова, который принял меня раздраженно: «Вы известны, видите, в чем дело, тем, что ходите и всех осуждаете с этичкой (sic!) точки зрения. Факультет нашел Ваше поведение недопустимым и постановил объявить Вам строгий выговор. Никто не просил Вас говорить о третьестепенных и четверостепенных возражениях» и т. д. Что можно было возражать этому аморальному варвару? Напрасно было говорить о свободе научных воззрений, о корректной форме моего выступления, о достоинствах классического труда П. Б. Струве. Бой мне не удался. Но положение выяснилось.

В мае мы собирались за границу. 10 мая назначен был отъезд. 8 мая я зашел в канцелярию юридического факультета.

тета и спросил у Баталина (бывший субинспектор из вульгарных) расписание на осень. Он дал мне корректуру: семинарий мой был погашен, отменен, рекомендованный курс переведен в число *необязательных*. Я спрятал корректуру в карман, не смотря на протесты Баталина, повернулся и ушел.

Придя домой, я позвонил Котляревскому и сказал ему возмущенным тоном: «Сергей Андреевич! Я звоню Вам для того, чтобы поблагодарить Вас за любезное содействие в деле предоставления мне права отбывать воинскую повинность. Мой курс дисквалифицирован. Мой семинарий отменен. Положение ясное».

Он, конечно, давно знал об этом, но умалчивал. У телефона он обнаружил полную растерянность. Умолял меня не принимать это трагически: «Мы это поправим, мы это поправим...». «Поправляйте, если хотите и можете» — и я повесил трубку. На следующий день я сказал жене: «К телефону я не подхожу. Будет звонить Котляревский, меня нет дома». Так и было. Котляревский звонил раз пять, и, к сожалению, в последний раз я ему попался. «Иван Александрович, не тревожьтесь, мы все это устроим. Поезжайте на дачу к Гидулянову и поговорите с ним. Все можно поправить!» — «Сергей Андреевич! Я у Гидулянова на даче не забыл ни зонта, ни палки, и делать мне там нечего. *Не поеду*». — «Не принимайте этого трагически!» — «Не принимаю. Вас благодарю за выдачу меня, несмотря на обещания. И ничего больше не предпринимаю». 10-го мы уехали.

Летом 1914 г. война застала нас в Вене. Позднее объявление войны между Австрией и Россией спасло нас при переезде в Швейцарию. Через Италию, Грецию, Сербию (Салоники—Ниш), Болгарию (Варна—Одесса) мы добрались в Россию в августе и решили передохнуть в Судаче (Крым) у родственников жены.

Оттуда я телеграфировал в университет секретарю Совета С. И. Преображенскому: «Прошу уведомить о документе, посланном воинскому начальнику». Пришел ответ: «Воинскому начальнику сообщено о необязательном, не подлежащем зачету курсе».

В начале сентября мы двинулись на Север. Я завез жену, Наталию Николаевну, в Лазареве (Тульской губернии, Крапивенского уезда, сельцо Выропаевка, родовое имение моей belle-mère⁴¹), а сам отправился в Москву выяснять дела.

Секретарь Совета Преображенский сказал мне: «Я три раза возвращал это удостоверение Гидулянову, указывая ему, что Ильина по такому документу заберут. Он три раза возвращал

мне его — говоря, что Ильину другого документа не будет. Это возмутительно: Вы состоите доцентом 5 лет, Вы имели зачетные курсы, а между тем, напр<имер>, Зызыкину, который еще с кафедры ни слова не сказал, дали удовлетворительный документ».

Я позвонил П. И. Новгородцеву и изложил ему дело. «Видите ли, — ответил он, — мы уже устроили по Ком<мерческому> институту Вышеславцева, и Алексеева, и еще целый ряд других лиц — и для Вас ничего не можем сделать. Поговорите с Гидуляновым и Любавским⁴²».

На меня повеяло заговором и унижением. Я решил ничего больше не делать, а ехать к воинскому начальнику. Собрал белья, умывальные принадлежности, положил в сумку и отправился по месту приписки в уездный город Бронницы (Моск<овской> губ<ернии>). На месте я был скоро принят. «Я приват-доцент Ильин, Моск<овского> университета. Только что вернулся из-за границы, узнал о неудовлетворительном документе из университета и являюсь к отбыванию воинской повинности».

Передо мною сидел интеллигентный человек в военном мундире, с бородой, умными глазами и деликатным обращением. Боуман, из англичан.

«Да, я помню Ваш документ. Он неудовлетворителен. Расскажите, пожалуйста, почему Вам выдали его?» Я рассказал обстоятельно, не скрывая ничего. Он внимательно слушал. «Видите ли, у нас есть инструкция, тайный циркуляр военного министерства, согласно которому следует освобождать от воинской повинности *всю* доцентскую молодежь, не считаясь с формулировкой удостоверений. И я своею властью, распространительным толкованием закона освободил и Вас. Поезжайте спокойно и преподавайте дальше». Я откланялся и уехал к жене в Выропаевку, где и пробыл до конца сентября.

О моей явке к воинскому начальнику я не сообщил в Москве ни слова — ни Новгородцеву, ни Котляревскому, ни Гидулянову. Я просто стал читать повсюду назначенные лекции. В университете — мой *необязательный* курс. Немалым утешением было мне то, что к концу второго (весеннего) семестра и мой курс оказался третьим по посещаемости на факультете. Первым шел курс Игоря Кистяковского по гражданскому процессу; вторым — И. Х. Озерова⁴³ по финансовому праву (оба обязательные); третьим — мой, *необязательный*.

(№ 13) 1917. 1930

В августе 1917 г. на Первом съезде Общественных деятелей, на второй день съезда, я подошел в коридоре университета, где происходил съезд, к Василию Алексеевичу Маклакову⁴⁴ и спросил его: «Василий Алексеевич! Почему молчит Маклаков? Почему не слышно его слова и суждения?». Мы до тех никогда не встречались, и он не знал меня. Но накануне, в первый день съезда, он слышал мою негодующую речь, произведшую на съезде сенсацию, и знал, с кем говорит.

Он ответил мне с большою простотою и прямою: «Видите ли, я три раза в жизни имел возможность заявить публично, что я монархист, один раз в присутствии самого Государя. При теперешнем положении дел в России мне здесь нет места и я воздерживаюсь от выступлений». Вскоре после этого он уехал во Францию послом от Временного правительства.

Тон его ответа не допускал сомнений в искренности. Впоследствии, уже за границей в эмиграции, П. Б. Струве сказал мне, что Маклаков был введен в ложу Великого Востока в Париже в 1896 г.⁴⁵ Максимом Ковалевским⁴⁶.

Бывая в Париже (1925—1930), я два раза заходил в бюро к М. Н. Гирсу⁴⁷ и В. А. Маклакову преимущественно для того, чтобы отстоять перед ними ассигновку, отпускавшуюся Советом послов на берлинскую Vertrauens-stelle⁴⁸, во главе которой стоял С. Д. Боткин⁴⁹. В 1930 г. Маклаков пригласил меня завтракать, и я провел с ним почти с глазу на глаз (присутствовала только его сестра) часа три. Он слышал уже плохо, прибегал к аппарату; и говорил все время почти один, потоком. Он доказывал мне свою невиновность в революции, как если бы я обвинял его в чем-нибудь. Но я именно его не обвинял. Я всегда ценил его деловую, предметную работу в Думе, его умные речи — всегда не только *ad rem*⁵⁰, но и от *hominem*⁵¹. Я помнил его закрытый доклад в Москве в декабре 1916 г. о том, что в бешено несущемся над пропастью автомобиле *нельзя* менять шофера, ибо это грозит гибелью⁵². Я знал, что циан-калий для Распутина⁵³ был добыт и передан Феликсу Юсупову⁵⁴ именно им. И думал о том, что я, к сожалению, не смогу ни записать, ни запомнить его сегодняшнее самооправдание.

Его политические мемуары⁵⁵ о трех Думах имеют большую политическую ценность. Он очень умен и даровит как оратор. Он тактичен, очень терпим и очень доброжелателен и не является честолюбивым интриганом. Тактически — он «реальный политик» и последовательный эмпирик. Этому искусству мож-

но и должно учиться по его книгам. Но у него *нет* религиозной веры, нет последней, и высшей, ценности; он безнадежный релятивист и скептик. В нем живет дух Французской революции: ум Вольтера, противопоставление бунтующей и требующей «свободы и благосостояния» личности — якобы деспотическому государству; вера в то, во что веровать глупо, — в демократические формы жизни. Он масон — не только по принадлежности к ложе и по 33-й степени посвящения, но и *по естеству своему*, масон, *верующий* в вопросах политической целесообразности (что нелепо) и *не верующий* в вопросах религиозной святости. Поэтому книги его могут послужить настоящей школой масонского релятивизма и доктринерства. О том, что Маклаков — масон, мне сообщил П. Б. Струве точно: он был введен в ложу в Париже в 1896 г. Максимом Ковалевским.

А. О. Гукасов⁵⁶ говорил в 1948 г. И. С. Шмелеву, что на издание последней маклаковской книги ему перевели «из Америки» 600 долларов.

О посещении Маклаковым сов<етского> посла Богомолова⁵⁷ в Париже в 1945 г. — отдельно.

(№ 16) 1921

В 1921 г. Михаил Васильевич Нестеров, с которым мы подружились за последние годы, привел ко мне Валентина Александровича Тернавцева⁵⁸. О Тернавцеве я давно слышал от друзей как о человеке очень умном, прозорливом и религиозно значительном. Он был много лет чиновником особых поручений у К. П. Победоносцева⁵⁹ и в первых Госуд<арственных> думах сидел всегда в правительственной ложе, наблюдая за поведением священников-депутатов. Его прозвали в Думе «красивый брюнет». Это Тернавцев давно говаривал про Бердяева: «Он одержим бесом, все его гримасы от беса, и однажды все это обнаружится и подтвердится».

Тернавцев вошел молчаливо, сел, рослый и широкоплечий, на мой кожаный диван и предоставил нам с Нестеровым разговаривать. Я знал, что Тернавцев уже 30 лет пишет книгу об Апокалипсисе и считает в нем все понятным: все сказанное есть философия человеческой истории и религиозности по отдельным народам и пророчество о грядущем. Я не хотел его форсировать, а он молчал со скучающе-наблюдающим лицом. Он оживился и заговорил только тогда, когда Нестеров перевел разговор на религиозный смысл наших дней и на интеллигентскую безрелигиозность. Они хотели, чтобы я высказался. Я от-

ветил, что совершенно не считаю себя человеком «богомудрым», что с мистическим ужасом смотрю на происходящее и думаю только, что мы вступили в совсем новую, исторически-религиозную эпоху. Тернавцев очень заинтересовался и попросил уточнения. Я сослался опять на мое малое разумение и отрицание доктринерства в сих вопросах. А затем высказал, что по моему слабому видению, человечество вступает в эпоху «Духа». Прошло то время, когда народы не умели идти от Отца к Сыну и Духу: исказили облик Отца и не узнали Сына и не приняли Духа. Потом 2000 лет они имели возможность идти от Сына к Отцу и принимать от Духа. И Сына они исказили, отвергли и утратили. Ныне настал кризис: нам надо будет идти от Духа к Сыну и к Отцу; и это последний шанс человечества. Тернавцев очень взволновался, Нестеров сверкал своими пронзительными глазами. «Вот ведь, смотрите, как Господь вас умудряет...» — воскликнул Тернавцев. И наше сближение завязалось.

Я и потом не раз видался с ним в долгих беседах. Однажды я рассказал ему о слухах, по которым правые русские организации будто бы уже завладели Чекою и ведут большевиков к крушению и ликвидации. Он ответил тоном человека осведомленного: «Действительно, наши с самого начала вошли туда с этой целью. Но их заподозрили коммунисты и, чтобы проверить их, стали давать самые отвратительные поручения. Уклониться нельзя было; переварить это тоже нельзя было. Некоторые стали морфинистами. Был момент, когда обе партии, как в азартной игре, сидели за столом, ожидая момента, чтобы опрокинуть стол и начать расправу; но момент этот прошел и теперь наши бессильны». Это было в 1921—<19>22 гг.

После высылки я никогда ничего больше не слышал о В. А. Тернавцеве.

(№ 29) 1918

Зимой 1917—1918 гг. меня посещало множество людей, иногда незнакомых, малознакомых, неожиданных. Алексея Станиславовича *Белоруссова-Белевского*⁶⁰ я знал давно, а со времени Съездов общественных деятелей (авг<уст> и окт<ябрь> 1917) мы считали себя ближайшими единомышленниками. Бывший когда-то в молодости близким к народовольцам, он вернулся из эмиграции после октября 1905 г., был либерал-радикалом, правым, писал в «Рус<ских> ведомостях» и стал в 1917 г. прямым и мужественным корниловцем-колчаковцем. Человек с большим журнально-политическим опытом, темпераментный, мужественный и правдивый.

Между прочим, он рассказывал мне о том, как Виктор Чернов⁶¹ в русской ссылке познакомился с знаменитым уральским разбойником Лбовым, сошелся с ним, «распропагандировал» его и договорился о том, что Лбов будет известную часть своей разбойной добычи отдавать Чернову для партии социалистов-революционеров, что впоследствии и осуществлялось. Помню, какое впечатление произвел на меня этот рассказ: поиск русского революционера на русского разбойника-каторжника ведет свое начало от Бакунина⁶² и Нечаева⁶³; он нашел свое отражение в «Бесах» Достоевского; он сблизил революционеров с уголовщиной в так называемых «экспроприациях» 1905—1907 гг., от которых правые эсеры официально отреклись, но которым потихоньку сочувствовали и *post factum*⁶⁴ выпрашивали себе подачки у левых групп (напр<имер>, после большой банковской экспроприации в Москве в 1906 г.). И вот: Литвинов-Баллах⁶⁵ был замешан в производство фальшивых денег, Сталин-Коба⁶⁶ организовывал экспроприации на Кавказе (с метанием бомб) в пользу сидящего за границей Ленина, Чернов стоваривался с Лбовым, а Керенский амнистировал уголовных в марте 1917 г. (об этом см., напр<имер>, в воспоминаниях начальника Всероссийского уголовного розыска Аркадия Францевича Кошко⁶⁷).

Вот почему революционеры так сердятся, когда им об этом напоминают: они знают, что *годами работали над ассимиляцией революции и уголовщины*.

(№ 30) 1914

Весной 1914 г. (до Первой мировой войны) меня неожиданно навестили Ф. А. Степун и казанский прив<ат>-доц<ент> Васильев⁶⁸ (философия). Степуна я знал с Гейдельберга—Фрейбурга (1910), Васильева я видел в первый раз.

После первых фраз знакомства Васильев вдруг воскликнул, как выстрелил: «Ну вот, Иван Александрович, это я понимаю, у Вас настоящее лицо философа — острое, худое, даже изможденное; а не то, что у Федора Августовича...» Я не знал, как замять этот неуместный и щекотливый разговор, а Степун ответил восклицанием, растягивая, по своему обыкновению, слова, по-актерски рисуясь и картавя звук «л» нёбным произношением: «Ну что ж вы хотите, когда у человека не лицо — а вымя?!». Я поспешил перейти к более серьезной теме, но Степун, сидя в большом кресле, несколько минут еще рисовал что-то на моем блокноте. Потом показал мне. Легкими, метки-

ми чертами была набросана голова жирной свиньи, жутко смахивавшей на самого Степуна. Под рисунком стояла размашистая подпись «Федор Степун». Рисунок долго у меня хранился и затерялся при высылке из России.

(№ 31, 32) 1915

В 1915 г. (весной или летом) меня посетил Ф. А. Степун, недавно вышедший из госпиталя после контузии на фронте. Об этой контузии по Москве рассказывали, что она была получена при следующих обстоятельствах. Шло наступление немцев на Ригу. Во время боя батарея, в которой состоял Степун («прапорщиком-артиллеристом») вместе с другими офицерами (все с немецкими фамилиями), молчала; бой был тяжелый и, кажется, для немцев успешный. После боя их потребовали в штаб к ответу. Они будто бы сели на телегу, телега потерпела крушение, и они приехали в штаб «контуженные». Верность этого рассказа мною не могла быть удостоверена.

Сидя у меня, Степун развивал военный пессимизм. Между прочим, видя, что мне его пессимизм мало нравится, он рассказал, что кто-то из его знакомых в Москве прямо спрашивал: «Как? Вы деретесь на фронте с немцами и не отступаете и не сдаете им пушек?!». Он *не* назвал мне вопрошателя, но я сразу узнал по интонации Богдана Кистяковского, который еще в начале войны говорил мне: «Ну, слушайте, что же вы хотите? Драться с немцами — это же последнее дело...» Он же говаривал и раньше: «У меня две родины — Украина и Германия! Россия никогда не была моей родиной!».

Почувяв, что передо мною сомкнутый фронт — Степуна и Б. Кистяковского, германофилов-пораженцев, — я нарочно углубил вопрос и сказал, что Россия, по-моему, непременно должна победить, чтобы окончательно оборониться от внешних врагов, утвердить свое духовное достоинство и не впасть в новое (германское) рабство.

На это Степун сказал мне, что он «с одинаковым отвращением относится как к идее победившей Германии, так и к идее победившей России».

Я ответил ему, что непобедившая Россия будет разгромленной, униженной и рабской Россией, лишенной правосознания и разнузданной.

Мы сидели за нашим чайным столом: на главном месте — жена моя, Наталия Николаевна, рядом с ней Степун, против жены я.

Вдруг он ответил мне со свойственной ему кощунственной насмешкой: «Что же вы хотите, когда русский народ *ноуменально*⁶⁹ предназначен к рабству?!».

Сдерживаясь изо всех сил, я ответил ему *приглушенным* голосом: «Извините, Федор Августович, если я вас верно понял, то вы сейчас сказали о русском народе — мерзость».

Вдруг он начал колотить кулаком по столу и визгливо-истерически, театрально кричать: «Как — вы — смеете — со — мной — так разговаривать?! Я вас научу, как со мной разговаривать!!». Затем столь же внезапно истерически захлюпал, начал мазать себя рукой по лицу и замолк.

Воцарилось удрученное — позорное для него молчание. Он не вынес его, вскочил, отвесил два поклона и ринулся в переднюю. Никто его не удерживал. В передней он, одевшись, начал вдруг меня обнимать, театрально всхлипывая и приговаривая: «Не надо сердиться!! Не надо сердиться!!». Я молчал. Он вышел.

Вернувшись в столовую, я просил у жены моей прощения за эту безобразную сцену.

Потом я его долго не видал. В его книжке «Записки прапорщика-артиллериста»⁷⁰ я потом прочел фразу о том, что люди, отстаивающие войну до победного конца, «мерзавцы».

В 1917 г., после революции, он стал правой рукой Савинкова⁷¹ в бытность сего последнего при Керенском — политическим комиссаром армий.

Передавали, что большевики выслали его за фразу на одном публичном докладе — в ответ на вопрос из публики, что он думает о большевиках? — «большевики — дьяволы». Я не был на этом докладе.

После нашей высылки (сент<ябрь>-окт<ябрь> 1922 <г.>), и он оказался в Берлине высланным. Предстоял вечер «в нашу честь» — от Deutsches Rotes Kreuz⁷² и Gesellschaft zum Studium Ost-Europas⁷³. Намечались ответные ораторы. Выбрали меня — и Степуна. Спросили Степуна, что он скажет. Он ответил развязно: «Я *одинаково* люблю Россию и Германию...» — и остановился. Я кинул ему иронически через стол: «Человек, рожденный двумя матерями?». Он с пристальным, угрожающим бешенством посмотрел мне в глаза — и промолчал.

Это не помешало ему явиться ко мне в начале 1923 г. в Берлине же с предложением перевести на немецкий язык мою работу о Гегеле (два тома). Он предлагал переговорить об этом с Гуссерлем и найти издателя. Я спросил его: «Почему он так заботится об этом?». Он ответил своим обычным развязно-аффек-

тированным-издевательским тоном: «Из патриотизма». С Гуссерлем он меня связал, была переписка, но *ему* я перевода не доверил из опасения, что исказит и наплетет. За перевод взялся Артур Лютер⁷⁴, перевел введение и две главы и забастовал. Перевод Лютера был неважен. Я остался должен ему 75 марок, которые потом выплатил ему пакетами из Швейцарии (в сороковых годах). Главы, им переведенные, я в 1945 г. переработал.

<(№ 33)>

Впоследствии, в 1928 г. в Берлине, мы с женою, отыскивая себе в качестве жильцов меблированные комнаты, попали к одному берлинскому профессору, сдававшему комнаты. Мы не сняли его комнат, но разговорились с ним. Он спросил, знаем ли мы проф. Степуна? Знаем, а что? «Да вот, я недавно слышал в одном обществе его лекцию о России. Это было возмутительно! Как может русский человек говорить эдакое о своем народе?! Он утверждал, что большевизм составляет самую духовную сущность русского человека и русского народа!» и т. д.

В 1932 г. собрался весною совет берлинских организаций для устройства Дня Культуры. В качестве оратора предложили Степуна, тогда — «профессора социологии» в Дрездене. Баллотировали закрытой баллотировкой. 24 направо, 10 налево. Я попросил слова и предложил, чтобы тот, кто будет ему писать, попросил бы его от нашего лица — не говорить в речи *позорных вещей* о России. И рассказал вслух при всех мою встречу с берлинским профессором. Воцарилась длительная, удрученная пауза. И. В. Гессен⁷⁵ прервал ее наконец — предложением баллотировать Степуна еще раз. Единогласно согласились и почти единогласно забаллотировали.

В том же (?) году Степун напечатал <статью>⁷⁶ в «Современных записках» за подписью Луговой, очень резко <отзываясь> о национал-социалистах. В 1934 г. русские, приезжавшие из Дрездена, передавали, что Степун объявляет себя открыто «национал-социалистом», ибо «националистом» и «социалистом», а для России предлагает Фюрера, избираемого на пять лет. Так он продержался на своей кафедре до 1938 г., когда Гештапо предъявило ему длинное обвинение (в том числе и статью Лугового), лишило его кафедры, отобрало паспорт и запретило ему выезд. После войны передавали, что он спасается на Тегерн-Зее, а потом он вынырнул на кафедре в Мюнхене.

Летом 1939 г. он *по радио*, слышному в Цюрихе, объединял католичество с Православием, уверяя, что православным при-

емлемы все католические догматы, только нажим католиков возмущает их. Мемуары⁷⁷ его я получил от него, не благодарил его и не читал их.

(№ 34, 28) Весной 1918 г.

В Москве ко мне пришли внезапно, отнюдь не сговорившись друг с другом, но встретившись у меня в подъезде (Крестовоздв<иженский> пер., д<ом> Бутурлина во дворе), П. Б. Струве, находившийся в командировке с юга на север за деньгами, и генерал для поручений при Л. Г. Корнилове — полковник Голицын. Войдя в переднюю, они оказались «в ссоре»: Голицын узнал Петра Бернгардовича, остригшего свою большую бороду, и неконспиративно назвал его по имени; П<етр> Б<ернгардович> выговаривал ему за это, а Голицын конфузился. Но это скоро закончилось: Голицын привез нам известие о смерти Л. Г. Корнилова, о которой ни П<етр> Б<ернгардович>, ни я еще не знали. Мы долго сидели вчетвером (жена моя, Наталия Николаевна) — потрясенные, подавленные, обсуждая последствия, новое командование (Деникин) и положение Белой армии.

Уходя, Голицын сказал мне: «Я приведу к Вам для связи и содействия двоих командированных с Юга. Это два полковника. Оба молодчинищи: Перхуров и Страдецкий». Через два дня они пришли ко мне все втроем. Оба полковника имели поручение работать негласно с Савинковым и поднять Север против большевиков. Оба рослые, широкоплечие; Страдецкий с рыжеватой бородкой и сверкающими глазами; Перхуров с длинным носом, умным взглядом, седеющий шатен, с бородой и усами. Предупреждая их, я рассказал им о Савинкове все, что знал, и обрисовал его как властолюбивого и аморального авантюриста-ассасина⁷⁸. Они знали это и рассказали мне о том, что после свидания на Юге Савинкова с Корниловым (ответ Корнилова: «Я-то вас прощу, но они, мои друзья и единомышленники, не простят!..») у них было контрразведочное сведение, будто Савинков готовит покушение на Корнилова; тогда группа корниловских офицеров стала ходить за Савинковым по пятам, чтобы вовремя успеть убить самого Савинкова. Но тут выяснилось, что Перхуров не будет терять Савинкова из вида... Я дал им связь с нашей московской офицерской организацией⁷⁹, и мы расстались.

Впоследствии восстание в Ярославле и было организовано Перхуровым и Савинковым. В 1930-х годах в рижской газете я читал о Перхурове, что из Ярославля он спасся к Колчаку, а

после крушения Колчака вступил под чужим именем в сибирскую Красную армию, где и готовил белые ячейки. Был узнан, арестован и передавался из тюрьмы в тюрьму. Описывал его очевидец. Это был старик с большой седой бородой, ясными могучими глазами и важными, командующими манерами. Во всех общих камерах авторитет его признавался немедленно. Он был организатором и арбитром. Его почитали и уголовные. С утра все становились на молитву и пели хором. Порядок был образцовый. Его все слушались и любили как своего рода Святого.

Передают, что его отправили в Москву и там на Лубянке расстреляли. Достоверности нет. О Страдецком я никогда больше ничего не слышал.

(№ 35) 1921

В 1921 г., проездом из Томска через Москву за границу, меня посетил Сергей Иосифович Гессен, занимавший в Томске какую-то кафедру и отпросившийся у большевиков за границу. Как он устроил это, не знаю.

Он удобно засел передо мною в большое мягкое кресло и начал развивать свое новое миросозерцание. Он видел спасение человечества в синтетическом сращении философии Риккерта и политики Ллойда-Джорджа⁸⁰. Говорил он долго, смакуя каждую фразу и сопровождая ее улыбкой, выражавшей сразу удовольствие от испытанной очевидности и снисхождение к наивному слушателю, которому нужно это все объяснять. Я долго и терпеливо слушал этот ворох мертвых глупостей. И вдруг я потерял терпение. Выждав паузу в его разъяснениях, я вдруг спросил его: «Скажите, пожалуйста, Сергей Иосифович, *долго* это безобразие будет еще продолжаться, по-Вашему?..». Он сразу обиделся, потерял и снисхождение и очевидность и сердито спросил: «*Какое* безобразие?». «Да вот, — ответил я, — погубление России сбродом коммунистов». В его глазах засветилась прямая злоба, и он отчеканил дословно: «Революция в России будет продолжаться до тех пор, пока *все* русские евреи не будут *окончательно уверены* в том, что сам Марков-второй, став министром внутренних дел, *не* восстановит черту оседлости, и сам Пуришкевич⁸¹, став министром народного просвещения, *не* восстановит процентную норму для евреев. До тех пор революция будет продолжаться».

Он кончил. Наступила звенящая пауза. Я молчал и внутренне повторял про себя его слова. Он явно был уверен в том, что

большевиcтскую революцию в России делают евреи в борьбе за свое равноправие. Дальше разговор не клеился, и он вскоре ушел. С тех пор я никогда в жизни не видал его. Он устроился в Праге, но во время моих приездов в Прагу я не встречался с ним.

Впоследствии, после высылки, я находил аналогичные признания: 1) в книге у Пасманика⁸²; 2) после Второй мировой войны — в статьях руководящих евреев. Одну из них прилагаю⁸³.

Как интересно было недавно найти в статьях Зеньковского⁸⁴ и Степуна, посвященных памяти С. И. Гессена (Новый журнал. 1951. Кн. 27), восхваления тонкого, острого и глубокого ума покойного. Я и мои друзья всегда считали его отменно глупым человеком...

(№ 38)

Когда после моего пятого ареста в Москве (1920 <г.> по делу «Тактического центра»⁸⁵) я вышел на свободу, просидев на Лубянке всего две ночи и день, я зашел к Гольдовским, чтобы узнать о моем друге (сын Рашель Мироновны Гольдовской⁸⁶, по первому мужу Фельдштейн), Михаил<е> Соломонович<е> Фельдштейн<е>⁸⁷ (прив<ат>-доц<ент> по государственному праву, ученик С. А. Котляревского).

У Гольдовских мне рассказали следующее. Радек⁸⁸ был у Ленина, когда Ленину сообщили, что среди вновь арестованных значится проф. И. А. Ильин. Радек передавал, что, узнав об этом, Ленин рассердился, немедленно позвонил в Чеку и сказал Агранову⁸⁹, ведущему это дело: «Вы опять арестовали профессора Ильина? Это общественный скандал! Немедленно допросите его, освободите и оставьте его впредь совсем в покое!».

В ту же ночь я был допрошен и наутро выпущен.

Я изумился и спросил: «Что я ему? Чего это он?». Отвечали, что он читал мой труд о Гегеле и высоко ценит его. Я ответил, иронизируя: «Ну, если он одобряет моего Гегеля, то мне придется его целиком пересмотреть, нет ли у меня там каких-нибудь пошлостей и гнусностей!..».

Потом «ручные» коммунисты (а такие были!) говаривали мне, что у меня есть хорошая отметка: в Гепеу меня считают «гегельянцем». Я обычно отвечал, что это недоразумение: я *никогда* не был гегельянцем — и что Маркс ничего общего с Гегелем не имеет; если он «произошел» от Гегеля, то разве наподобие того, как Смердяков от Федора Карамазова. Мне отвечали: «Молчите и не возражайте! Когда мы исчезнем, тогда вы и заявите, что вы не гегельянец; а до тех <пор> — это ваша заручка».

Позднее, в эмиграции, мой друг Андрей Иванович Бунге⁹⁰ говорил мне, что в советском журнале «Огонек» он видел воспоминания о Ленине, составленные его учениками. Там рассказывалось, что Ленин говаривал своим ученикам: «Напишите о Марксе так, как Ильин написал о Гегеле! Почему вы не пишете так? А потому, что *не можете!*...».

Этих воспоминаний я никогда не видал и передаю со слов Бунге. Однако это подтвердило мне, что Радек, по-видимому, не врал.

(№ 54) 1903

Поступая в университет, я мечтал о филологическом факультете. Отец мой настаивал на поступлении в инженерное училище, к которому я питал отвращение. Под его влиянием я в 8-м классе гимназии вел даже добавочные занятия по математике, работая у Д. А. Бема⁹¹. В аттестате зрелости, ввиду моего указания на инженерное училище, поместили даже особую одаренность к математическим наукам, чего в действительности вовсе не было. Я только овладел геометрическим и алгебраическим созерцанием под влиянием талантливейшего преподавателя, Фед<ора> Сем<еновича> Коробкина⁹², и давал хорошие ответы. Летом отец, заметив мое противление и депрессивное состояние, согласился отказаться от своего требования, но с условием, чтобы я поступил студентом не на филологический факультет, а на юридический. Я пошел на это скрепя сердце, но с первого же семестра заскучал. Скучные курсы Мрочек-Дроздовского⁹³ и прив<ат>-доц<ента> Числова⁹⁴ по истории рус<ского> права; абстрактный курс политич<еской> экономики Мануйлова⁹⁵; сухое преподавание истории римск<ого> права у Хвостова...⁹⁶ Все было томительно. Заинтересоваться Самоквасовым⁹⁷ я не мог в силу моей исторической незрелости. Заинтриговывал только Новгородцев, читавший энциклопедию права как своего рода малопонятное введение в философию идеализма. На втором курсе с осени я стал ходить на дом к И. Х. Озерову, глотать дававшиеся им книги (учебники, история коопер<ативного> движения, рус<ская> фабрика) и задумывал изучать историю русской фабрики.

В декабре я заболел бронхитом, месяца на три. И уехал лечиться к родителям в деревню, взяв с собою «Историю древней философии» Виндельбанда, курс Новгородцева и Платона, подлинники в переводе Карпова. К весне Платон был мною изучен и любим.

Весной на экзамене по истории философии права я вынул у Новгородцева билет о Платоне. Помню, как он молча, не перебивая меня, прислушался к моему ответу с несколько изумленными глазами и довольным выражением лица. Отметка была 5+. Я тут же попросил у него личной беседы на дому, чтобы переговорить о моих занятиях. Он назначил свой обычный приемный час, в ближайшее воскресенье от 10—12 утра.

Меблированные комнаты Троицкой у Никитских ворот. Дом этот погиб, расстрелянный во время моск<овского> вооруженного восстания большевиков в 1917 г. осенью. Скромные, очень чистые полукомнаты, крашеные полы. Он принял меня со свойственной ему любезно-тонкой важностью.

Я повторил ему мое желание: план занятий. «Сколько времени Вы хотели бы посвящать моему предмету?» — был его вопрос. — «Всю жизнь», — отвечал я не обинуясь. — «Очень хорошо, — был его ответ, — а мы, с своей стороны, сделаем все возможное, чтобы облегчить Вам Ваши занятия и Ваше положение». Я принял это как предложение готовиться к магистерскому экзамену и унес от него задание — написать мое первое сочинение о Платоне и предложение бывать у него по воскресениям от 10—12 для бесед.

На этих воскресеньях я встречал Савальского⁹⁸, выходявшего в приват-доценты, Н. Н. Алексеева, еще студента, Л. С. Меевича (пом<ощник> прис<яжного> пов<еренного>), а потом твершегося Вышеславцева, И. А. Карабегова, иногда М. Н. Нерсесова⁹⁹ (межд<ународное> право) и случайных визитеров. Пили чай, обсуждали проблемы магистерской программы и общепедагогические. Дверь в соседнюю комнату (П<авел> И<ванович> уже женился и имел комфортаб<ельную> квартиру в Малом Знаменском пер.) была открыта. Оттуда доносился шелест читаемой газеты — это безмолвно слушала нас Лидия Антоновна Новгородцева, урожденная Будилович, женщина очень умная, с самостоятельным характером, независимыми суждениями и оценками. В дальнейшем она много поработала над примирением меня с Павлом Ивановичем. В эмиграции я встречал ее не раз в Праге в двадцатых-тридцатых годах (иногда и у Крамаржей¹⁰⁰).

(№ 58) 1931

В 1931 г. мне удалось найти издателя для подготовленного нами тома «Welt vor dem Abgrund»¹⁰¹. Найти было нелегко: немецкие издатели один за другим брали рукопись и «довери-

тельно» советовались с большевизанствующими немецкими публицистами. Наконец, когда издатель — евангелическое издательство «Eckart Verlag», состоящее при Evangelischer Presse-Verband¹⁰², т. е. при высших органах Ober-Kirchenrat и Kirchen-Bundesamt, — согласилось издать книгу, оказалось, что она на год устарела и мне, как редактору, пришлось все доработывать и подновлять.

В 1932 г. Oberkonsistorialrat A. W. Sfschreiber, заведовавший в Kirchenbundesamt сношениями с иностранными евангелическими «церквями» и сектами — стал мне как-то говорить, явно с чужого голоса, что книга имеет существенный недостаток.

Я: «Какой же?»

Он: «Она совсем умалчивает о *положительных сторонах и заслугах* большевизма».

Я: «Помилуйте! Какие же там заслуги? У дьявола не может быть положительных сторон: они призрачны, обманчивы; успехи их инсценированы и соблазнительны. Говорить о них — значит сеять соблазн и обманывать».

«Ах, нет, — сказал он, — почему же? Дьявол есть полезное существо, и от него бывает людям и польза...»

Я смолк, мгновенно измерив разделяющую нас бездну. С этой доктриной о пользе дьявола я впоследствии встречался не раз.

(№ 65)

В 1934 г., в ноябре, возвращаясь из Белграда и Люблян после публичных лекций, мы с Н<аталией> Н<иколаевной> провели несколько дней в Праге, каждый день выдаясь с Надеждой Николаевной и Карелом Петровичем Крамарж и с Ильиными (проф. Василий Сергеевич, ботаник, мой двоюродный брат, и его жена Нина Ивановна).

Между прочим, Нина Ивановна рассказывала, что она один год посещала в Праге семинарий Булгакова (проф. Сергей Николаевич) по богословию и была у него на исповеди. В семинарии своем Булгаков разбирал догматы Православия и в этой связи анализировал, комментировал и анатомически описывал *неделями* учение о зачатии и рождении Христа Богоматерью. В семинарии участвовали несколько мужчин и дам. Нина Ивановна с негодованием рассказывала о том, как прот<оиерей> Булгаков часами предавался анатомическому и физиологическому разъяснению того, как могла Дева Мария зачать без семени и родить «без исления». «Мы, женская часть семинария,

часами сидели сконфуженные, растерянные, опустив глаза и не зная, куда деваться от стыда». — На исповеди же прот<оие-рей> Булгаков стал задавать ей столь нескромные вопросы о ее эротических грехах, что она, вскипев от негодования, сказала ему: «Отец Сергей! На такие вопросы я отвечать не буду!» Невольно вспоминается Федор Павлович Карамазов: «Сосцы особенно!..».

(№ 66)

В годы 1926—1938 мы с женой не раз подолгу жили в Гаутинге (Gauting bei München¹⁰³) в пансионе Софии Петровны Дурново¹⁰⁴ (урожд. светлейшая Волконская), где и подружился с нею и с жившим у нее князем Николаем Борисовичем Щербатовым. София Петровна была лет 30 фрейлиной двора и состояла при великой княгине Виктории Федоровне (супруге Кирилла Владимировича¹⁰⁵).

В числе предков Софии Петровны значилась, между прочим, и Мария Савишна Перекусихина. Она состояла долгие годы придворной дамой при императрице Екатерине II; от нее у Софии Петровны имелись драгоценные фамильные жемчуга. С<офья> П<етровна> рассказывала, что Мария Савишна, согласно прочным фамильным преданиям, несла при Екатерине обязанности «пробной дамы»: она выбирала любовников Екатерине и проверяла на себе и этих «кандидатов», и тех, на которых указывала ей Екатерина. Об успешной или неуспешной «пробе» она докладывала Екатерине, что и вело к соответствующим последствиям «допущения» или «недопущения» кандидата в альков Императрицы.

(№ 67)

В 1924 г., когда я лечился от катара верхушек и мы жили в итальянском Тироле (Siusi) в одной гостинице с С. М. Волконским¹⁰⁶, он, желая меня утешить и доказать, что в России при «советах» не так уж все плохо, сказал: «Вот, говорят, там нет ничего светлого... Это неверно! Есть очень отрадные явления. Например, мы знаем наверно, что целый ряд православных священников за обедней, при совершительных молитвах тайно от прихожан поминают Римского Папу...»

Я остолбенел: предательство своей Церкви, обман при совершении таинства, кощунственная ложь в алтаре — отрадное явление?! Тут я впервые понял, что С. М. Волконский сам состоит негласным католиком и уже впитал в себя всю порочность ка-

толической Церкви. Впрочем, здесь имел значение его гомосексуальный уклад, о котором он мне сам открыто говорил. Я невольно вспомнил психоаналитическую гипотезу Зигмунда Фрейда: «Если видишь предательство, спроси, не замешан ли гомосексуальный; если видишь гомосексуалиста-практиканта, спроси, где ждать от него предательства?».

(№ 70) 1924—1925

В конце 1923 г. я заболел гриппом. Болезнь тянулась, и к весне 1924 г. установили катар верхушек (рецидив после 1916 г.). Мы уехали на юг и провели в отъезде с мая 1924 до марта 1925 г. (Фельден и Кётчах в Австрии, Сиузи, Флоренция, Сан-Ремо, Меран, Флоренция). В Сиузи мы жили в одном отельчике (Unterswirt¹⁰⁷) с князем С. М. Волконским, вместе обедали и ужинали и много беседовали. Он дописывал свой роман, я писал с июля мою книгу «О сопротивлении злу силой», меценатски заказанную мне Борисом Густавовичем Кешпенем¹⁰⁸.

Однажды Сергей Михайлович спросил меня, не придется ли мне коснуться в книге вопроса о том, что «цель оправдывает средства». Я сказал, что, наверное, речь будет и об этом. Ни слова мне не говоря, он, будучи давно уже католическим конвертитом¹⁰⁹, написал своему брату, князю Петру Михайловичу¹¹⁰, в Париж, а тот дал знать об этом в иезуитский университет Инсбрука. Однажды С<ергей> М<ихайлович> начал меня таинственно уговаривать съездить в Инсбрук: там-де уже предупреждены, приглашают меня и ожидают лучшие иезуитские богословы, которые и разъяснят мне «верно» иезуитское учение по сему вопросу, а то-де я могу «наделать ошибок». В Инсбрук я не поехал, а занялся иезуитской литературой в библиотеке Uffici во Флоренции и в библиотеке Сан-Ремо. После усидчивой работы я нашел все, что мне было нужно у Эскобара-а-Мендозы¹¹¹ (см. в моей книге).

Во время второго посещения Флоренции, в феврале 1925 г., мне доложили однажды вечером в пансионе, где мы жили, что ко мне приходило католическое духовное лицо, которое посетит меня и завтра. На следующий день, рано утром, в 8 часов, я был едва одет и не пил еще кофе, докладывают «un padre»¹¹². Чужая, о чем пойдет речь, я взял с собою мои иезуитские выписки в карман и пошел в салон. Мне предстал отец Владимир Абрикосов¹¹³, высланный вместе с нами из Москвы за активную католическую пропаганду. Я знал его еще по московской Пятой гимназии. Сын московского кондитера, с бледным лицом, чрез-

мерным носом, ассирийской бородой и выделанным хладнокровием. На визитной карточке его стояло: «Padre Wladimiro Abricossosof. Procuratore generale della chiesa esarco dei emigranti russi»¹¹⁴. Произошла беседа, в которой я держался с еле скрываемой иронией. По-русски.

Он: «И<ван> А<лександрович>» я слышал, что вы пишете богословский труд».

Я: «Помилуйте, где мне братья за такие вопросы, я к богословию не способен».

Он: «Однако вы, по слухам, пишете о сопротивлении злу силою?»

Я: «Да, это верно».

Он: «Но тогда вам придется непременно коснуться вопроса об оправдании средств целью, а также учения иезуитов об этом».

Я: «Да, это, кажется, неизбежно».

Он: «Ну вот, я и пришел, чтобы вас предупредить, что у иезуитов *нет* учения об оправдании средств целью. Лучше и не ищите, не найдете!»

Я: «Ой ли?»

Он: «Да, уверяю вас. Это им зря приписывают!»

Я: «Ну, а что, если я уже нашел у них соответствующее?»

Он: «Это не может быть!»

Я: «Да вот, позвольте, я вам прочту найденное». Вынимаю из кармана тексты и читаю по латыни соотв<етствующее> место из Эскобара-а-Мендозы, который *прямо перечисляет отцов иезуитов, оправдывающих средства целью и примыкает к ним сам*.

Он (сильно побледнев и волнуясь): «Откуда это у вас? Где вы это взяли? Да стоит ли на этом издании *imprimatur*¹¹⁵?»

Я: «Не беспокойтесь, все в порядке. Издание такого-то года, найдено мною в библиотеке Uffici и *imprimatur* стоит».

Он: «В таком случае я должен сказать вам следующее. Я прислан к вам от Ватикана просить вас не касаться этого вопроса, и вот почему. В настоящее время в Риме работает особая комиссия из прелатов, которой поручено пересмотреть все учение и всю деятельность иезуитов. Учение их признается ложным, деятельность их порочной. Документы эти не публикуются для продажи, но я имею полномочие дать их вам на прочтение. Поэтому лучше будет, если вы не коснетесь иезуитов вовсе».

Я: (*про себя*: «Почему же лучше? казалось бы наоборот?») (вслух): «Отец Владимир — я буду вам очень благодарен за такое осведомление. Мы на днях уезжаем в Берлин, и вы, может быть, признаете возможным прислать мне это туда».

Он: «Да, я непременно сделаю это, дайте мне ваш адрес. А затем я хотел бы углубить нашу беседу. Скажите, И<ван> А<лександрович>, как вы относитесь к вопросу о соединении Церквей? Мы ведь видим, что ценные элементы русской эмиграции не идут к нам; идет один отброс. А между тем, подумайте, какие были бы последствия!.. В Православии есть молитвенная сила, но нет воли и дисциплины; а у нас есть воля и дисциплина, но нет молитвенной силы. Подумайте, если бы нам соединиться — у нас было бы *все* и торжество христианства было бы обеспечено в мире».

Я: «Слыхали ли вы, отец Владимир, о той операции, которую недавно произвели Вильгельму Второму, экскайзеру?»

Он: «Нет, а что?»

Я: «Ему, видите ли, вставили оперативным путем обезьяньи железы. Так вот, в такое обхождение с живым организмом, да еще духовным, я не верю. Православие или извлечет из своей молитвенной силы — и волю, и дисциплину, или же угаснет в истории. Вставить ему от католицизма волю и дисциплину есть затея безнадежная. И католики должны сами у себя и в себе возродить молитвенную силу».

Мы расстались. Я написал в своей книге все, что считал нужным, а он прислал мне в Берлин одиннадцать жидких книжек антииезуитского содержания, список коих прилагаю. Это был с его стороны явный обман; эти книжки продаются и покупаются обычным порядком.

*Список книг, полученных от Абрикосова*¹¹⁶.

(№ 75) 1921

В 1921 г. я возобновил знакомство с Короленкою (был на класс старше меня в 5-й гимназии). Он затевал большую нэповскую спекуляцию, водился на короткой ноге с графом Б. Шереметевым и собирал у себя к ужину голодающих приятелей. Был и я у него однажды или дважды. Как-то он передал мне приглашение проф. Ивана Христофоровича Озерова (Финансовое право) прийти вечером для беседы. Беседа состоялась у Озерова, в то время уже вернувшегося с юга, но ограбленного в отсутствие своим учеником М. Боголеповым¹¹⁷, который «экспроприировал» в свою пользу квартиру и богатейшую библиотеку своего учителя (он ссужал нас книгами своими еще тогда, когда мы были студентами). Озеров, как всегда, нервно возбужденный и проповедующий, принял нас где-то в своей комнате. Он прочел нам свое письмо к Ленину в Кремль, негодующее и обличитель-

ное. Там стояли, между прочим, такие формулы: «Вы спирохетизировали Россию бактериями лени и жадности». К сожалению, я *не* знаю ни судьбы этого уже отправленного пророческого письма, ни судьбы самого Озерова.

(№ 106)

В 1922 г. летом, когда я гостил у Михаила Васильевича Нестерова, писавшего мой портрет, мы с ним посетили жившего неподалеку Владимира Федоровича Джунковского¹¹⁸ (бывш<его> моск<овского> губернатора и потом шефа жандармов и мин<истра> внутр<енних> дел). За четыре года перед тем я видел его во время моего третьего ареста в общей камере Чеки на Лубянке, где он держался с удивительным достоинством и простотой.

Джунковский рассказал, между прочим, два анекдота, один из коих я запомнил.

Однажды Государю Александру III¹¹⁹ представлялись инвалиды Крымской войны, один дряхлее другого. Государя сопровождал генерал Драгомиров¹²⁰, известный своим пьянством. Желая ему показать, что непьющий живет дольше, Государь каждого из стариков спрашивал, сколько ему лет и пьет ли он водку.

П е р в ы й. «Сколько тебе лет?» — «74, Ваше Имп<ераторское> Величество». — «Водку пьешь?» — «Никак нет, Ваше Имп<ераторское> Величество».

Государь Драгомирову: «Вот, слышали?..»

В т о р о й. «Сколько тебе лет?» — «80, Ваше Имп<ераторское> Величество». — «Водку пьешь?» — «Никак нет, Ваше Имп<ераторское> Вел<ичество>».

Государь Драгомирову: «Вот, видели?»

Т р е т ь и й. «Сколько тебе лет?» — «84, Ваше Имп<ераторское> Величество». — «Водку пьешь?» — «Никак нет, Ваше Имп<ераторское> Велич<ество>».

Государь Драгомирову: «Ну, конечно...»

Ч е т в е р т ы й. Дряхлый, хриплый, с задыханием. «Сколько тебе лет?» — «Э-э-э... 91, Ваша Ампиаторская Величество...» — «Водку пьешь?» — «Э, э, э — кажинный день, Ваша Ампиаторская Величества, э, э, э... куушаю».

Государь рассмеялся и прекратил допрос.

(№ 110) 1917, 1921

В 1921 г., когда проф. Александр Аполлонович Мануйлов вернулся с юга, у меня были с ним встречи. Он, между прочим,

готовясь к возможному аресту, расспрашивал меня, как бывало «тюрьмосеса», есть ли в тюрьмах крысы: их он «боялся» больше всего. Я успокоил его: «Клопов и вшей — сколько угодно, но крыс не бывает». Разговор коснулся, конечно, того, что называют «ошибками прошлого». Я спросил его об аграрной реформе Столыпина¹²¹. Он сказал мне: «Столыпин был, конечно, прав. Это-то и было нужно». Я с удивлением спросил его: «Александр Аполлонович! Зачем же Вы все время в “Русских ведомостях” и во всей либеральной прессе критиковали и отвергали его реформу!?!». Он ответил: «Это было несправедливо с нашей стороны. Но у нас тогда была кадетская директива: *критиковать и отвергать все, что идет от правительства*».

Идя от него домой, я вспоминал, как в ноябре 1917 г., тотчас же после вооруженного восстания, я передал ему в «Русские ведомости» через Кокошкина статью мою «Ушедшим победителям»¹²². Он напечатал ее тотчас же на первом месте страницы; но так как я просил не помещать моей подписи, для того чтобы мне, в предвидении конспиративной антибольшевистской работы, преждевременно не экспонироваться, то он подписал ее буквами «И. Л.». Через несколько дней после ее появления доктор Л. И. Свержевский говорил мне, что у него на приеме был Мануйлов, который упоминал об этой статье с большим сочувствием, как о статье, *выражающей мнение редакции*.

Статью эту прилагаю.

(№ 119) 1918

В 1918 г. во время моего третьего ареста (октябрь—ноябрь) я встретил в переполненном подвале Гепеу на Лубянке офицера Никольского, зятя Надежды Петровны Корелиной¹²³, воспитателя кадетского корпуса. Он был настроен фаталистически, но очень спокоен и уравновешен. Он сказал мне, что будет, *навверное*, расстрелян потому, что у него при обыске взяли т<ак> наз<ываемые> «Сионские протоколы» в издании Нилуса¹²⁴. Все, у кого находят эту книгу, обречены расстрелу. Предвидение его оправдалось: его в ближайшие дни расстреляли. Эту точку зрения или, вернее, это наблюдение я слышал не раз и впоследствии.

«Сионские протоколы» я тогда уже читал и, читая, изумлялся легковерию людей. Их текст написан невозможным, наивно-пестрым стилем самого различного характера. Есть основное ядро «плана» революции: стиль сжатый, резолютивный, лапидарный — и жутко-правдоподобный по своей точности. Затем

есть «нейтральные» болтливые интерполяции обывательского стиля. И, наконец, есть совершенно явные, грубо-тенденциозные «интерполяции-фальсификации», сделанные тем стилем, которым писалась крайне правая, «черносотенная» пресса. Филологически и стилистически невыносимая мешанина, режущая ухо и обесценивающая весь документ. Какой-то резолютивный документ революционного злоумышления, может быть, и лежит в основе всего; но чей? кем составленный? Это документ *концентрированного ума и чудовищно-злой воли*. Если и этот, основной, текст есть фальсификат, — то фальсификат *огромного ума и предвидения*. Как можно было его «исправлять» и «дополнять» — непонятно. Но явно, что он *прошел через несколько безвкусных, политически невежественных и стилистически нелепых «редакций»*. Впоследствии он был переиздан в Берлине (в двадцатых годах) кругами «Высшего Монархического Совета». Может, эти <ми> «исправляющими» редакторами были сами составители, которые фальсифицировали его нарочно, чтобы сделать нелепым и дискредитировать его в глазах научной критики? Рассказывали, будто основной текст его выдуман католиками, что мне кажется не абсолютно исключенным, но малоправдоподобным.

(№ 121)

В сезон 1913—1914 гг. (?) Художественный театр возобновил «Бранда» Ибсена с Качаловым¹²⁵ в заглавной роли, как и прежде. В качестве представителя петербургской газеты, в редакции коей театральную критику вела моя двоюродная сестра по отцу Любовь Яковлевна Гуревич (ее мать была урожденная Ильина, Любовь Ивановна), — я присутствовал на генеральной репетиции. Как всегда, в партере в середине налево стоял режиссерский стол. В антракте я подошел к Вл<адимиру> Ив<ановичу> Немировичу-Данченко¹²⁶. «Ну что, — спросил он, — какие ваши впечатления?» Я сказал, что Качалов производит тяжелое впечатление: он вымучивает из себя героическую роль, которая ему чужда, и это выходит натянуто и аффектировано. Немирович живо отозвался: «Да, знаете, люблю я Василия Ивановича, как никого, но и побить его надо, как никого». Он, по-видимому, сам разделял мое впечатление.

Я считаю, что В. И. Качалов-Шверубович как актер имел свои, совершенно определенные, пределы. Ему удавались совсем не все роли. Его амплуа было лирически-обывательское (Тузенбах в «Трех сестрах»), на *не* интенсивных чувствах. Здесь

он мог быть превосходен. Драматические и трагические роли удавались ему только тогда, если он находил для них лицевую и звуковую «маску» — напр<имер>, Цезарь у Шекспира, Анагэма у Леонида Андреева¹²⁷; тогда он мог создавать на сцене законченные шедевры актерской техники — но *без души*. Живая человеческая душа — в драматической или трагической ситуации — не удавалась ему: он совсем не был волевым человеком, он совсем не был мыслителем — и поэтому у него ничего не выходило из Гамлета, Бранда, Ивана Карамазова и других подобных ролей. Благородные манеры, чудный, гибкий, богатый голос, сценический опыт не спасали его: остальное, душевно-духовное, скрывалось за аффектацией. Впрочем, и в лирически-обывательских ролях у него встречались провалы аффектации; так, в «Вишневом саду» Чехова, играя Петю Трофимова и умилившись на заснувшую Аню, он фальшиво выпевал каденцией вниз — «Радость моя-а-а! Весна моя-а-а-а!». Как если бы он хотел *отнять* свою радость и весну у кого-то другого...

В истории театра Качалов-актер будет, вероятно, несправедливо преувеличен. У него и в жизни не оказалось ни настоящей глубины чувства, ни духовного разумения, ни воли. Поэтому-то большевики и могли его разыграть: он говорил по радио их свирепые банальности, требовал «высшей меры наказания» для невинных «врагов народа» и вращался в Кремле. Трагедия безыдейности, безволия и обывательщины настигла его — в революции.

(№ 122)

Помощник режиссера Художественного театра Вахтанг Иванович Мчеделов, милый и сердечный человек, рассказывал мне в 1915 г. о первой поездке Худож<ественного> театра за границу. Запомнилось следующее.

Артем¹²⁸ имел огромный успех. Немецкие газеты, не обинуясь, называли его «гениальным артистом». При отъезде из берлинского отеля Мчеделов сказал Артему: «А знаешь, Родионыч, что про тебя написали? — Гениальный актер!» — «Да ну? Вправду? Ну ты достань мне эту критику, я ее возьму на память». На вокзале Артем вспомнил обещание: «Ну что, достал?» А Мчеделов не успел раздобыть газету. Зная, что Артем по-немецки ничего не понимает, он сунул ему первую попавшуюся газету и ткнул пальцем: «Вот здесь!» И Артем, тронутый и благодарный, спрятал газету в карман. На другой день Мчеделов дал ему настоящую критику и просил у него прощения.

Артем был действительно гениальным актером. Лиризм его переживания; певучая мягкость и искренность его интонаций; законченная отделка его игры; художественная убедительность его внешнего и внутреннего облика побеждали и убеждали зрителя с первого момента. Он был столь же великолепен в драматической роли «дедушки Курюкова» («Царь Федор»), в лирико-драматической роли доктора Чебутыкина («Три сестры»), в архикомической бессловесной роли «Петрушки» («Горе от ума»). Зритель не помнил актера: он видел сущего Человека на сцене. Ни одной фальши; ни одного преувеличения; ни одного срыва. И дублеры его — (напр<имер>, Грибунин¹²⁹ в Чебутыкине) — всегда разочаровывали. Фирс в «Вишневом саду» был столь же закончен и трогательно убедителен, как Вафля в «Дяде Ване» Чехова. По профессии же Артем был учителем рисования и начал свою работу в Худ<ожественном> театре с сединою в бороде.

(№ 15) 1914—1916

В начале ноября 1914 г. я написал статью «Основное нравственное противоречие войны». Я прочел ее в виде доклада в Моск<овском> психологическом обществе. Прения были оживленные. Помню возражение Л. М. Лопатина, который не заметил в моей постановке вопроса начала «любви». Помню возражение М. П. Поливанова¹³⁰, указавшего на то, что такое разрешение (трагический компромисс) применимо и к другим проблемам жизни (я согласился, конечно); возражение слепого философа Щербины, который весьма категорически заявил, что в моей статье «мало философского анализа»; его я попросил указать совсем точно, «как ставятся философские проблемы, как исследуются философские предметы и что значит дать философский анализ» проблемы. «Итак — пожалуйста! Я слушаю!» Помню, как его растерянное бормотание вызвало всеобщие смешки и он беспомощно смылся.

Доклад мой был напечатан в «Вопросах философии и психологии»¹³¹; книга читалась, как говорили мне, нарасхват и к великому ужасу была арестована цензурой и препровождена к прокурору судебной палаты. Прис<яжный> пов<еренный> Н. К. Муравьев взялся за это дело. Он говорил с прокурором и привез мне на прочтение два отзыва — *духовной* цензуры и *светской* цензуры. Оба отзыва были, по существу, в изложении точны, умны и справедливы и оба предлагали вмешательство прокуратуры. Прокурор освободил книжку, и все кончилось благополучно.

Продолжение появилось весной 1916 г., когда мне позвонил и приехал ко мне знакомиться толстовец В. Г. Чертков¹³². Он просидел у меня около часа. Грузный, рослый, сытый и *удручающе глупый*. Он думал найти во мне что-то вроде толстовца и долго мямлил мне о светлых и радостных событиях на фронте: «Такие отрадные явления! Народ не хочет войны! Он не будет ее вести! Он скоро положит оружие и разойдется по домам!».

Лишь постепенно он понял, что решительно не встречает во мне никакого единомыслия. И наконец ушел. Я тогда не думал, что его предвидения сбудутся. Но впечатление *тяжелого и вредного глупца* осталось во мне навсегда.

(№ 123)

В 1914 г., в начале сентября, вернувшись из заграницы, где нас застала война, я зашел к Дмитрию Евгеньевичу Жуковскому¹³³. У него я застал С. Н. Булгакова, который темпераментно излагал свою «новую концепцию войны, монархии, России и Православия». Я долго слушал его самоупоенное пустословие. Но когда он дошел до Распутина, я не выдержал. Венцом его понимания явился тезис, что Россия теперь спасена, потому что ею руководит Помазанник, православный Государь, которым, в свою очередь, руководит «православный Старец» Распутин; оба они «великие мистики», и в этом спасение. Тут я встал и, ни слова не говоря, направился в переднюю. Жуковский бросился за мною: «Почему вы? куда? что случилось?». Я ответил ему, что не могу и не хочу слушать эти гибельные пошлости; и ушел.

В посмертном издании дневников Булгакова я нашел подтверждение этой концепции (1948)¹³⁴: это удостиоверило меня, что я тогда верно понял его «идею».

Я еще раз с негодованием вспоминал эту болтовню, когда в 1916 г. в «Вопросах философии и психологии» нашел его главы «Свет Невечерний»¹³⁵: здесь он развивал новую догматическую концепцию, согласно которой Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый имеют в Лице Софии Премудрости что-то подобное «общей жене», в любви к которой они себя (по очереди?) истощают, и она от них зачинает и родит мир. Помню, как я целому ряду друзей читал вслух эти пошлые выдумки и все разделяли мое негодование. В позднейшем издании книги «Свет Невечерний»¹³⁶ я этого места не нашел: вероятно, кто-нибудь посоветовал автору убрать эти формулы.

Вскоре после этого я говорил на тему о Булгакове с умным и мягким человеком, профессором зоологии Алексеем Николае-

вичем Северцовым¹³⁷ (друг князя Е. Н. Трубецкого и М. В. Нестерова). Он сказал мне: «Знаете, И<ван> А<лександрович>, Булгаков — это тот *глупый* человек, о *глупости* которого *все знают*, но, принимая во внимание его доброту и честность, избегают о ней говорить».

Однако ереси его, поддерживаемые соблазнителем Бердяевым и масонской экуменой, принимаются в заграничных церковно-инославных кругах за Православие, имеют успех и даже апологетов, вроде «булгакововеда» Зандера¹³⁸.

Нельзя не упомянуть еще о его попытке оправдать Иуду-предателя¹³⁹ и объявить его «национальным святым» русского народа, который-де «тоже предал Христа» и тоже «не утратил своего апостольства».

В посмертной книге Булгакова имеются следы его суждений и об Иуде, и о Распутине.

(№ 129)

В 1914 г., в октябре, князь Евгений Николаевич Трубецкой по соглашению с Земским и Городским союзами устроил ряд публичных лекций в Москве по «идеологии войны», издававшихся потом брошюрами у Сытина¹⁴⁰.

Первую лекцию читал я о «Духовном смысле войны». Народу было сравнительно немного; успех был средний. Когда я, по окончании второго часа, вышел в лекторскую, ко мне подошел полицейский пристав, откомандированный градоначальником для контроля, и сказал мне:

«Знаете, профессор, я уже было хотел прервать и прекратить вашу лекцию там, где вы коснулись погромов, производимых мобилизованными запасными...»

«Но, — тут он взял меня за руку, приблизил свое лицо вплотную к моему и, бодая лбом мой лоб, прорычал мне в самое ухо, — но красноречие ваше меня победило...» От него пахло вином.

О «погромах» у меня было сказано вскользь, что народ должен понимать смысл и цели своей войны, иначе он может предаться дезертирству и погромам.

(№ 136) 1932

В 1932 г. в Италии, в вагоне II класса, мы познакомились и разговорились с интеллигентным и симпатичным итальянцем, который, между прочим, рассказал нам следующее. Он вез своего маленького сына — лет 10—11, — только что взятого им из

иезуитской школы, чтобы поместить его в другое, светское, училище. Мальчика укачало в дороге и он крепко спал. Отец говорил:

«Я должен был взять своего сына из иезуитской школы, после того как узнал, что они внушают детям. Мой мальчик, наивный и искренний ребенок, затруднялся их молитвенными упражнениями и спросил своего наставника-патера: “Я не знаю, что такое Бог, и не умею молиться. Я слышу слова, и не понимаю их, и не молюсь, и не знаю, что мне делать”. Тот ответил: “Сын мой, тебе и не надо ничего знать и понимать. И не заботься о своей молитве. Складывай руки как надо и делай все то, что предписано и что другие делают, и тогда остальное придет само собою”». Рассказчик искренно возмущался этой системой, считая ее мертвенной и фальшивой в вопросах последней важности. — Мы расстались с ним почти друзьями.

(№ 139) Начало XX века

Покойный Альберт Альбертович Кемпе (директор Моск<овского> Трехгорного пивоваренного завода), человек умный и сердечно-благородный, друг моего отца, рассказывал как-то следующее.

Он ехал в поезде где-то в южной Германии. Против него сидел католический патер, с которым он разговорился. «Скажите, — спросил он его между прочим, — как это вы преподаете вашим духовным детям то, во что вы сами не веруете и предъявляете к ним требования на исповеди, которых вы сами не исполняете?»

Патер ответил вдумчиво и точно: «Но разве врач непременно должен сам принимать все те лекарства, которые он прописывает своим больным?».

(№ 140, <№ 97>) 1933

На публичной «елке» для детей я встретил в 1933 г. в Берлине Николая Федоровича Фабрициуса-де-Фабрис. В двадцатых годах он был за что-то выслан поляками из Варшавы и переехал в Берлин. Это человек умный, но в высшей степени себе на уме и склонный к интриге, тогда представитель великого князя Кирилла Владимировича на Германию и большой друг католиков.

Он рассказал мне, со слов дружественного ему прелата, следующее. Римский Папа того времени ¹⁴¹, расхаживая однажды по своему кабинету и диктуя что-то своему секретарю, оста-

новился и воскликнул: «Ах, это православное духовенство! Бородатые, некультурные, невежественные, грязные! Но имеют в молитве такую силу, что, если бы *нам* ее, мы бы давно уже обратили весь мир в католичество!». В рассказе Фабрициуса не слышалось ни выдумки, ни интриги, ни желания поразить меня. Он сам находился под впечатлением этих слов.

Впоследствии его репутация была сильно замарана в Мюнхене (остатки врангелевской казны, совместные интриги с Серафимом Ладе¹⁴² и педерастия).

(№ 148)

В 1925 г. мы проводили летом часть наших каникул в Обербоцене (Sopra-Bolzano), где князь Вадим Григорьевич Волконский снял для себя и своей семьи (он был женат на дочери П. А. Столыпина, Елене Петровне, по первому мужу кн. Щербатовой) — «шалэ»¹⁴³, а для нас заказал комнату в отеле, где мы платили недорого.

К табльдоту¹⁴⁴ выходила особа с любезно-ищущим взглядом, с русско-бабьим лицом (в котором можно было заметить некоторые черты еврейства) и в подчеркнутых русско-национальных костюмах. Услыша наш русский язык — мы имели отдельный стол с супругами Поляковыми (русский атташе из Рима), — она скоро начала нам кланяться, а потом подошла и заговорила. Мы справились о ней, кто она? Оказалось — из России, жена видного русско-еврейского сиониста.

Однажды, видя, сколь авторитетно она рассуждает о политике, мы спросили ее, что, по ее сведениям, коммунисты долго еще просидят в России? Глаза ее засверкали зловецю, наигранное русское добродушие исчезло с лица, и она ответила взрывом: «Этто — навсегда! Это никогда не изменится! Это так и останется!». Мы поспешили замять разговор и расстаться с нею.

(№ 151) 1915—1916

В 1910 г. в Гейдельберге и Фрейбурге я познакомился с Федором Августовичем Степуном (через его брата, естественника Оскара) и с Борисом Валентиновичем Яковенкою. Мое выступление в семинарии Риккерта (Фрейбург) летом 1910 <г.> с докладом о «Наукоучении Фихте-Старшего 1794» было устроено Степуном. Он производил впечатление словесно и актерски очень талантливого человека, бойкого, самоуверенного, склонного к шалости и остроумию, добродушного, но предметно-пустого и безответственного. Он не вызывал никакого духовного,

нравственного или философического доверия. Интуиция его была мгновенна, но поверхностна; эмоциональная живость — велика, но неискренна. Виндельбанд¹⁴⁵, рассказывая мне о его докторской диссертации (Владимир Соловьев)¹⁴⁶, признавался, что сам не читал Соловьева и не знает его: «Da kann ich mir vorstellen, was der mir da hineingeschrieben hat...»¹⁴⁷.

Потом я на несколько лет потерял Степуна из вида. Между 1912—1914 гг. я читал в Московском психологическом обществе доклад «О категориях логического смысла». Присутствовавшие на докладе Степун и Яковенко постарались разнести тезисы моего доклада в пух. Я защищался — и, признаться, удивлялся, ибо все, что они говорили, производило впечатление непредметных, но раздраженных придираков.

Каково же было мое удивление, когда на следующий же день они явились ко мне с визитом, засыпали меня комплиментами и стали уговаривать, чтобы я дал им этот доклад для напечатания в их новом журнале «Логос...»

Я ответил им, что слышанное ими вчера есть отрывок из читаемого мною курса логики, что это, след<овательно>, неотделанный черновик и что я принципиально черновики своих не печатаю.

Последовали долгие и темпераментные уговоры, причем достоинства моего доклада все возрастали в их устах. Я упорно отнекивался и с интересом вдумывался в их образ действий. Наконец мне это надоело. Я сказал им:

«Да что же это вы пришли ко мне снижать мои критерии и развращать меня, юношу? Нет ли у тебя цикуты? — обратился я к присутствовавшей жене моей, Наталии Николаевне, — смотри, пожалуйста, они забыли, что в Греции развратителям юношества полагалась цикута! Надо их угостить этим напитком».

Они оба сконфуженно смеялись. Я перевел разговор на другое и доклада им не дал. Зато напечатал у них первые три главы из моей работы о Гегеле.

А зайдя однажды в редакцию «Вопросов философии и психологии», я услышал от Льва Михайловича Лопатина и секретаря, Надежды Петровны Корелиной, рассказ о том, как к ним явились в редакцию Степун и Яковенко и предложили — или передать редактирование журнала в их руки, или, по крайней мере, включить их в состав редакции. Особенно развязно и напористо держался Степун. Рассказывали мне об этом с самым живым негодованием. Отказ был категорический. Степуну было около 26 лет.

(№ 152)

Кафедру химии на естественном факультете Моск<овского> университета занимал профессор Иван Алексеевич Каблуков¹⁴⁸. Широкоплечий, седой, с красным лицом и несколько вытаращенными глазами, он отличался своей способностью путать и выворачивать слова, затрудняться в выборе слов и строении фраз и произносить подчас невозможные вещи. Обыкновенно такое затруднение разрешалось кряхтящим покашливанием, после которого и произносилось новосозданное слово. Сколь велики его заслуги как ученого, я не знаю, но студенты и профессора рассказывали о нем множество анекдотов. Вот некоторые.

Желая назвать Менделеева, он сбивался на Меньшуткина и произносил «Мендель-гм-шуткин». На съезде химиков, в прениях, он сказал: «Я, с своей стороны, тоже хотел прибавить одно..., гм, недоразумение»; а в докладе: «Вы увидите, что вы ничего не видите, кроме, гм, одной маленькой деревянной дырочки...»

По пути в Петровско-Разумовское, где он читал лекции в Сель<ско>хоз<яйственном> институте и куда ездили на паровом трамвае, он говорил: «А опоздок-то, гм, паровичал». Сухареву Башню он называл «Бухарева Сашня». Побывав в Америке и осмотрев там химический институт имени Джона Гопкинса¹⁴⁹, он называл его в докладах «Институт, гм, Гона Джопкинса». Один из лучших анекдотов о нем таков.

Заметив, что швейцар его Химического института опять выпил, он позвал его и сказал:

«Иван! Ты опять выпил?»

«Никак нет, Иван Алексеевич! Вы, что ль, подносили?»

«Нет, ты выпил! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не пил! Скажи, сколько тебе лет?»

«Ну, шестьдесят...»

«Ну вот видишь, а кабы ты не пил, то тебе было бы теперь... гм... не шестьдесят, а восемьдесят...»

(№ 155)

Зимой 1918 г. мой друг Николай Вячеславович Якушкин¹⁵⁰ привел ко мне московского мирового судью Константина Ивановича Лучинского: это был человек большой привлекательности, с суровым ликом вроде рембрандтовского воина в шлеме, деликатный, малоречивый и внушавший полное нравственное доверие.

Он сказал мне, что состоял и состоит при бактериологической лаборатории, в которой работал добровольцем во время войны. Он и его друзья заявляют мне, что в их распоряжении имеются две банки с бактериями азиатской чумы, что они думали о том, не следует ли использовать эту возможность для борьбы с большевизмом, и, не решив вопроса, постановили обратиться ко мне в строго доверительном порядке и предоставить эту возможность на мое усмотрение и в мое распоряжение: как только я дам распоряжение, они, в самсоновском порядке¹⁵¹, пустят чуму в народ, чтобы погубить большевиков и погибнуть самим.

Через два дня я дал ему устный ответ: «Большевизм может быть и должен быть преодолен только духовно, религиозно и государственно, но не массовым вымиранием народа от эпидемии». Ясно было, что в хаосе того времени удержать чуму было бы совершенно невозможно: она расползлась бы по *всей* России и унесла бы много миллионов жертв. Но жертв физических, бессмысленных, не очистительных: это был бы хаос гибели, но не гибели большевизма. Это губило бы этническую субстанцию России, не освободив ее духа от дьявольского наваждения. Это открыло бы доступ в Россию той державе (Германия), которая сумела бы победить эпидемию: а обезлюдение России входило в ее программу.

Я наложил на это предприятие запрет и взял с них честное слово в повиновении.

(№ 158)

В 1920—1921 гг. мне передавали в Москве из наших профессорских кругов следующий рассказ.

К Ленину пришел старый коммунист Горев (бывший прежде священником Галкиным, но потом оставивший сан) и стал жаловаться.

«Помилуйте, Владимир Ильич, я старый, заслуженный коммунист и доселе не имею кафедры. А в университете какой-то Ильин, контрреволюционер, читает студентам лекции о Боге!..»

Ленин возразил: «Да он, вероятно, читает о *философском* божестве!..»

«Нет, — воскликнул Горев-Галкин, — не о философском, а о *настоящем!*..»

Комментарии излишни. Я читал действительно о *Настоящем*.

(№ 12, 159) 1943—1944

В ноябре 1943 г. на пятый год моей жизни в Цолликоне Георгий Павлович Брюшвейлер, швейцарец, родившийся и учившийся в Москве, сын московского реформированного суперинтендента¹⁵², доселе мне незнакомый, но вспоминавший меня, как московский студент московского профессора, позвонил мне по телефону из Берна, просил свидания и посетил меня несколько раз. Он жил в Германии и служил в каких-то (точно не знаю, каких) организациях национал-социалистов, бывал в оккупированной России, рыскал по всей Германии, много рассказывал конкретного и привозил фотографические снимки.

На первый раз он звал меня переехать в Германию и вступить в «Правительство» генерала А. А. Власова¹⁵³. Впечатление у меня было такое, что этот шаг был ему подсказан влиятельными германскими чиновниками из ненационал-социалистов.

Я выслушал его спокойно и дал категорический отказ. Я изложил мои доводы: объективные и субъективные.

Объективные. 1. Германия, как и следовало ожидать, безнадежно проиграла войну: это гиблое место, тонущий корабль; это не место для политической акции (он этого еще не понимал и был потрясен).

2. После того, что нац<ионал>-соц<иалистическая> Германия (да и вообще *вся* Германия) совершила в эту войну по отношению к России и русским, связываться с нею, доверять ей, ждать от нее чего-либо для России совершенно невозможно, наивно и нелепо: она показала себя русским «врагом № 1...»

3. Власова не знаю. Доверять ему в его отношениях к Германии, к России и к большевикам не имею никаких оснований. Если он, выручая своих солдат, лезет в петлю национального компромисса, — то это понятно. Но другим пачкаться этой петлей нелепо. Все это обреченное.

Субъективные. 1. Я не политик, и меня честолюбие не томит и не соблазняет.

2. У меня несколько начатых книг, которыми я повинен России. Я молю Бога дать мне возможность завершить их; и на другие пути не пойду.

В 1944 г. он привез мне целые картоны рукописей, написанных новыми русскими эмигрантами в Германии по поручению каких-то германских министерств: разоблачение большевистской лжи по церковному вопросу в России. Он обратился ко мне с просьбой германских (*не* нацистских) чиновников проредактировать эти рукописи по моему усмотрению, отобрать, написать предисловие и напечатать.

Я сразу решил, что этого не сделаю, но ознакомиться не отказался. Я прочел предисловие митрополита Сергия¹⁵⁴, экзарха Балтийского, в котором он простым указанием элементарных ошибок «Сергие-Патриаршей» книги разоблачает весь фальсификат (Дмитрий Донской в предисловии назван будто бы «Патриархом» — «святым», — но никогда им не был; след<овательно>, Сергей не писал этого предисловия; да и вся книга написана гепеуками!); я просмотрел еще одну или две статьи — и понял, что этим авторам доверять нельзя. Через неделю Георгий Павлович был опять у меня, и я категорически отказался.

— Почему?

— Эти люди мне неизвестны. Одни из них могут врать, угождая немцам. Другие — просто чтобы прокормиться. Третьи — по поручению Гепеу для дезинформации и позднейшего разоблачения большевиками. Проверить их я отсюда не могу. Исправить тоже не могу. Брать на себя ответственность за такой сборник невыносимо. Когда я редактировал сборник «Welt vor dem Abgrund», — я отобрал людей, заслуживающих доверия¹⁵⁵; я связал их автентическими источниками и ссылками. А здесь — все втемную. Однако, если бы не эти соображения, то я а priori не могу и не хочу варить дело за Россию — с немцами, так себя в войне показавшими.

Я советовал Брюшвейлеру передать картоны с рукописями в архив Ю. И. Лодыженского¹⁵⁶, что он и сделал. Лодыженский не захотел или не смог использовать их.

Однако через несколько месяцев Ю. И. Лодыженский при свидании в Цюрихе спросил меня несколько раздраженным голосом: «Скажите, пожалуйста, И<ван> А<лександрович>, почему это немцы так вас уважают и ценят?». Вопрос мне не понравился: в нем слышалось добавочное: «а меня — нет!». Я ответил очень сухо: «Меня это не интересует, как они ко мне относятся; для меня гораздо важнее, как я к ним отношусь, — а я им ни в чем не сотрудник и доверия к ним не питаю никакого».

Немцы вообще не уважают того, кто перед ними стелется, заискивает, ищет контакта, просит помощи или денег. Живя в Германии, я предоставлял им генерировать мой труд, если считал этот труд нравственно и патриотически приемлемым для себя; но всегда держался совершенно независимо и никогда ни о чем не просил. Лодыженскому же всегда была свойственна иная манера.

Один немец из России, изучив своих сородичей, сказал мне еще в Берлине: «Германец вежлив и любезен только с тем, кто

дает ему пинки ногою». Это грубо сказано. Но с унижающимся просителем германец всегда будет презрителен.

Замечательно, что эти рукописи пропали потом. Ю. И. Лодыженский взялся за них, получил гонорар 1000 франков, кому-то что-то «поручил» — и все пропало. Брюшвейлер напрасно добивался их возвращения авторам и жаловался на Лодыженского, что он, по собственному признанию, затратил 1000 франков на спасение брата. Напрасно я требовал от Лодыженского возврата этих рукописей — во имя чести и честности. Напрасно приезжали делегаты авторской группы (после войны). Лодыженский уверял, что он отдал оба картона Брюшвейлеру. Не передал ли он их своим друзьям — католикам?

(№ 160)

На пароходе «Oberburgermeister Hacken»¹⁵⁷, везшем нас, высланных большевиками, из Петербурга в Штеттин, я встретился опять с редактором «Русских ведомостей» Владимиром Александровичем Розенбергом¹⁵⁸, которого знал по редакции, но давно не встречал. Как-то, коротая время на палубе (погода была превосходная), он стал оживленно рассказывать о том, что пишет мемуары и что в этих мемуарах он намерен изобразить Павла Ивановича Новгородцева и меня как самых «храбрых» людей, которых он встречал: «Сидеть годами как ни в чем не бывало, зная свою обреченность и спокойно ожидая расстрела со дня на день» — это казалось ему пределом храбрости. Я удивлялся и думал о других, несравненно храбрейших...

Впоследствии ключ для понимания храбрости дал мне в устных беседах генерал Петр Николаевич Врангель. Он говорил: «Боятся *все!* Храбр тот, кто умеет побороть свой страх... Кто не способен к этому, тот станет жертвой паники...» Врангель сам был исключит<ельно> храбр.

То же самое подтверждал мне и другой, известный своею храбростию, генерал, А. П. Кутепов¹⁵⁹. Он славился еще во время большой войны тем, что во время атаки своего полка (окапывание с перебежками) никогда не ложился, но ходил по рядам атакующих солдат со стеком в руке и спокойным тоном маневренной беседы критиковал каждому лежащему солдату его окопку.

Очень поучительны были мне и рассказы моего друга, Лазаря Соломоновича Мееровича, который в 1915 г. добровольно оставил тыловую службу, к которой был прикомандирован (заведующий полковым продовольствием), и пошел в первую линию боя. Он говорил: «Когда лежишь под ураганным огнем часами,

то главное усилие направляешь на то, чтобы *не вообразить*: страх родится от воображения — как только представишь себе, что снаряд попал в тебя, так в душе поднимается волна страха — и не знаешь, куда деваться...»

Это я проверил на себе. И может быть, я напрасно в течение пятилетней жизни под большевиками, готовясь к расстрелу, сознательно упражнялся в воображении себе своей собственной казни, чтобы довести себя до «атараксии»¹⁶⁰. Обуздание воображения есть *главное*. Людям, лишенным живого эмоционального воображения, храбрость дается легче.

Я же, зная свое воображение, всегда сомневался в своей храбрости и побеждал страх молитвою и преданием себя в руку Божию.

(№ 168)

Осенний и весенний семестры 1921—1922 <гг.> были моими последними семестрами в Московском университете. Я объявил два «семинария» в Философском институте: 1) «Философия Гегеля» и 2) «О методе философии». Семинарии были предназначены для студентов и студенток, кончающих филологический факультет по философскому отделению. Их было около 60 человек. У них были сданы всевозможные зачеты по всем философским предметам; считалось, что они «пишут свои сочинения». Это были ученики Лопатина, Челпанова¹⁶¹, Шпета, Кубицкого и других. Каждый из них считал себя зрелым мыслителем, постигшим чуть ли не Гуссерля; и на прочих многие из них смотрели решительно свысока.

Я вел эти семинарские часы (каждый по два часа в неделю) — в порядке импровизации, рассматривая основные проблемы *философского опыта* и *акта*: в методологическом семинарии — в общей форме, на Гегеле же — конкретно иллюстративно. Помню эти лица мужской части аудитории: самоуверенные, изумленные; иронические улыбки, насмешливое перешептывание, заносчивые взгляды свысока. Я знал, что им тут *все* будет странно, ново, опрокидывающе. Это были сплошь молодые, но уже закоренелые рассудочники-диалектики, воображавшие, что для философии достаточно кое-что прочесть и бойко о прочтенном рассуждать. Опыт духа, чувства, сердца они просмотрели. Вложение в философский опыт *всего* человека казалось им неслыханной претензией; об ответственности этого делания им, по-видимому, никто не говорил; о нравственном и религиозном смысле философствования они сначала не хотели и думать.

Постепенно, однако, атмосфера устанавливалась. Здоровая часть аудитории быстро пошла со мной. Число иронических протестантов сокращалось. На пятой лекции, отпуская аудиторию, я попросил троих задержаться на минуту, указав на них пальцем: «Вас, вас и вас...» Когда остальные ушли, я сказал этим трем: «Я прошу вас, господа, *не* посещать мои занятия. У вас имеются свои сложившиеся воззрения на философию; переубеждать вас я не берусь, а смотреть часами на ваши, не скрываемые вами, иронические улыбки мне тягостно: это мешает мне и отвлекает меня от предмета». Все трое побледнели и растерялись. Один из них был Скрябин (племянник композитора), другой еврей Дворников, третьего не помню. Первый не стал возражать и прекратил свои посещения. Двое других стали оправдываться и просили разрешения ходить. Я согласился.

Ко второму семестру атмосфера была превосходная. Аудитория загорелась, и занятия давали мне большое удовлетворение. Потом до меня дошло через знакомых стихотворение одного из слушателей Чичерина (внук Бориса Николаевича)¹⁶², начинавшаяся так:

Всегда суровый, непреклонный,
Неумолимый и прямой,
Огнем Предмета опаленный,
Вы стали нашею грозой...

Кажется, оно у меня не сохранилось.

Осенью 1922 г., когда я был приговорен по ст. 58-й к смертной казни с заменой ее пожизненной высылкой, ко мне явилась делегация от этой милой молодежи и принесла мне трогательный, благодарственный адрес, покрытый многими подписями (что было для всех них опасно). Велико было мое удивление, когда я увидел в конце подпись изгнанного мною Скрябина. «Что же это такое? — спросил я, тронутый, — это Скрябин?!» Делегаты ответили мне, что он перестал посещать занятия, но после каждой лекции подробно выспрашивал других слушателей обо всем, делился с ними своими соображениями и внутренне «перестроился». Я просил передать ему привет и благодарность.

Боюсь, что этот «адрес» не сохранился у меня. Но в 1923 г., уже в Берлине, я получил письмо от кружка моих студентов, образовавшегося после моего отъезда. Они занимались «философией религии», о коей я читал тогда лекции и на историко-филологическом факультете (под заглавием «Введение в историю религий» сем<естр> 1920—1921) и в Психологическом обществе. Письмо это прилагаю.

**«СЕМИНАРИСТЫ» МОИХ ПОСЛЕДНИХ
МОСК<ОВСКИХ> СЕМИНАРИЕВ**

Москва 23. III. 1923 г.

Дорогой, глубокоуважаемый Иван Александрович!

Мы слышали, что Вы уже знаете об организовавшейся у нас секции по философии религии, в которую вошли преимущественно участники Ваших прошлогодних семинариев (молчаливые и немолчаливые). Уже несколько раз во время работы, особенно когда останавливались перед затруднениями, мы обращались мысленно к Вам и наконец решились написать Вам, прося помочь нам в выборе материала и нахождении метода.

Когда мы начали работу, у нас не было ничего, кроме желания найти правильный подход к проблеме, внутренне нам всем интересной и важной. Для начала мы решили остановить ее на совместном чтении и обсуждении проповедей Мейстера Экхарта¹⁶³. В процессе этой работы у нас возникло много проблем, из которых некоторые вышли за пределы разбираемого материала. Поэтому нам показалось более правильным оставить на время М. Экхарта, с тем чтобы, выделив заинтересовавшие нас проблемы, осветить их более полно, изучая опыт разных религий.

Сейчас центральными для нас являются вопросы: 1) Как принимается мир на различных ступенях религиозного опыта; душой, имеющей опыт божественного, и душой, предстоящей Богу («У истока и в устье», по выражению М. Экхарта), 2) Как обновляется душа в результате этого опыта, в результате рождения в ней Слова; как человек, находящий мир в Боге, по-новому подходит к творчеству в науке, искусстве, философии. Сейчас мы пробуем читать с этими вопросами I Послание Иоанна.

Чем дальше мы идем в нашей работе, тем больше чувствуем, что, несмотря на несомненный результат работы, хотя и очень маленький, мы все время идем в ней почти ощупью; опыт наш очень мал, выбор материала труден, и как бы ни было сильно наше желание, мы в некоторых случаях останавливаемся перед трудностями, почти непреодолимыми.

Поэтому, как мы уже говорили вначале, нам захотелось обратиться к Вам с просьбой помочь нам в наших затруднениях. Мы надеемся, что Вы не откажете написать, посоветовать, как вести работу, что читать; что делать дальше.

Нам было бы очень ценно получить от Вас письмо, так как мы все время чувствуем, что та внутренняя связь, которая уста-

новилась у нас с Вами, в последнее время не прерывается, а, наоборот, крепнет.

Мы очень дорожим тем немногим, что нам удастся узнать о Вас. Нас очень огорчило известие о Вашей болезни, дорогой Иван Александрович, желаем Вам поскорее поправиться и надеемся на то, что болезнь не помешает Вашей работе. Ждем с нетерпением Вашего ответа.

Т. Сахарова,
А. Сербаринова, Т. Куприянова,
В. Василевская, Т. Фролова,
З. Шнеерсон, В. Чижова,
А. Чичерин, А. Сабуров¹⁶⁴,
Р. Ольдекоп¹⁶⁵, А. Ремезова,
Воробьев (Воробьев)

(№ 175) 1921

В 1921—1922 гг. с осени преподавателей философии некоммунистов окончательно убрали с факультета «общественных наук» в так называемый «философский институт», руководство коим поручили ученику Челпанова — Густаву Густавовичу Шпету (латыш), человеку, известному своим острым умом, цинизмом, научным бесплодием и пьянством. Покойный Л. М. Лопатин называл его «луженой глоткой». Ему секундировал Александр Владиславович Кубицкий¹⁶⁶, примкнувший к большевикам из эсеров, человек, научно столь же бесплодный, как и Шпет, и, кажется, не менее его злобно-циничный (поляк).

К философскому институту были причислены, кроме них, Франк¹⁶⁷, Бердяев и целое гнездо партийных меньшевиков и большевиков (экономических материалистов). Был причислен и я. В первом же заседании разыгрался характерный эпизод. Обсуждалась под председательством Шпета программа занятий, мирно и корректно. Кому-то понадобилась редкая философская книга, unicum, имевшийся в библиотеке эмигрировавшего С. Н. Булгакова. А между тем целый ряд профессорских библиотек был захвачен большевиками и распределен среди своих членов. Так, ученик Озерова, «финансист» Боголепов (армянин) присвоил себе библиотеку своего учителя; Рязанов-Гольдендах¹⁶⁸ захватил библиотеку Булгакова, кто-то еще присвоил себе библиотеку Новгородцева и т. д.

И вот, когда упомянули об этой редкой книге, то меньшевичка, госпожа Аксельрод¹⁶⁹, заявила: «Да, эта книга имеется в библиотеке Рязанова». Тогда с нашей стороны последовала ре-

плика: «То есть — в библиотеке Булгакова». Они все сконфузились и некоторые из них густо покраснели. Шпет не сразу нашелся, как замять щекотливое дело, а мы наслаждались возникшей паузой — сидя перед пойманными с поличным революционными «приобретателями».

(№ 176)

В 1918 г., вскоре после водворения большевиков, ко мне явилась с очень верной рекомендацией группа офицерской молодежи, работавшая вместе с экспедиционным отрядом французских войск в Москве над производством отравляющих газов. Они просили меня связать их со штабом, подготавливающим восстание против большевиков, и предоставили в его распоряжение необходимое количество газовых выделителей портативного характера для выключения из «боя» всех красноармейских частей, верных большевикам. Я связал их с генералом Михеевым¹⁷⁰ и полковником Яременко, работавших в этом направлении под руководством Брусилова и Зайончковского. Впрочем, оба эти «штабиста» производили на меня впечатление вялое, безвольное, утомленное: кажется, они искали больше «жалованья» из «центра», чем дела. Когда стало опасно, — они куда-то исчезли. Михеева я встречал несколько раз в заседаниях так называемой «пятерки» И. А. Кистяковского.

(№ 176-a) 1919—1921

Когда у власти водворились большевики, то целый ряд профессоров, скрывавших дотоле свои политические симпатии, сняли маску и «самоопределились». Так было и с Робертом Юрьевичем Виппером¹⁷¹ (род. 1859, латыш). Закулисные переговоры его с большевиками мне неизвестны. Но вот он выпустил книжку о Христе, в которой изображал Иисуса как «идеолога еврейского банковского капитализма» (потому-де Он так много говорит в Евангелии о займодавцах, должниках и процентах). В 1921 г. Факультет обществ<енных> наук учредил Институт социальной психологии и выдвинул в председатели Виппера. Напрасно наша группа возражала против этой кандидатуры: человек, всю жизнь отрицавший самостоятельность психического фактора, — не может вести таких исследований. Мы выдвигали Степана Борисовича Веселовского¹⁷². Виппер был выбран, и вскоре вся университетская Москва заговорила о его «докладе», в котором он выдвинул новую гипотезу об убиении Дмитрия Царевича: его убил царь Федор Иоаннович¹⁷³. Проф.

Михаил Михайлович Богословский¹⁷⁴ дал ему настоящий бой на этом докладе; аргументация его была, конечно, уничтожающая для Виппера. Виппер стал отступать, что ведь это «только гипотеза». «Помилуйте, — восклицал Богословский, — это не гипотеза, а инсинуация против святого человека!...»

В 1921 г., во время войны с Польшей, Виппера пригласил кружок «оставленных при университете» прочесть доклад о современных событиях. На этом докладе я был. Это был ряд частноутвердительных и частноотрицательных суждений, произносившихся гипотетически-проблематическим тоном: «Может быть, Россия отчасти погибла; но, может быть, она отчасти и не погибла... Может быть, предстоит период новых войн, но, может быть, и не предстоит». И т. д., и т. д. По окончании этого любопытного по своей робкой пустоте доклада вскочил проф. Александр Николаевич Савин¹⁷⁵ и воскликнул, что он хочет непременно возражать, ибо он «решительно ни в чем не согласен с докладчиком».

Впоследствии Виппер и его сын¹⁷⁶ (специалист по истории искусства) были отпущены большевиками в Ригу к латышам, где Виппер придумывал им историю Латвии. А потом оба вернулись с почетом к большевикам в Москву.

(№ 183)

Немецкий журналист Pfeiffer-Belli, член редакционного комитета в «*Bediner-Tageblatt*»¹⁷⁷, заведовавший фельетоном и редактировавший посему (1935—1937) мои «*Essay*»¹⁷⁸ (Karl von Brebisius¹⁷⁹), — рассказывал мне в 1936 году, как ему пришлось присутствовать на днях на попойке SS¹⁸⁰- и SA¹⁸¹-партийцев в Берлине. После шестого грога они начали вслух мечтать об освобождении подлежащих завоеванию соседних стран от населения. Предлагались разные способы: одни предлагали спровоцировать в завоеванной стране восстания и усмирять их газами; другие предлагали запретить населению браки; третьи — стерилизовать под предлогом эпидемической прививки все мужское население и т. д.

До аушвицких печей не додумывались. Можно с уверенностью сказать, что эти печи были тем окончательным, «рациональнейшим» средством, которое было бы в дальнейшем (особенно в случае победы Гитлера) применено и к славянскому, и к русскому населению, подлежавшему уничтожению.

